

Я З Ы К

СБОРНИК СТАТЕЙ О СТАНОВЛЕНИИ РУССКОГО ДИСКУРСА

Е. А. БЕЛЖЕЛАРСКИЙ, Н. А. ПИОТРОВСКИЙ, Д. А. ПОЛКОВНИКОВ,
А. Б. РОГОЗЯНСКИЙ, А. В. ЦИПКОВ,
В. А. ЦИПКОВ

МОСКВА – 2017

УДК 821.161.1-1
ББК 84 (2Рос+Рус) 6-5
Я 41

Составитель А. В. Щипков

Я 41 Язык: Сборник статей о становлении русского дискурса/ сост.
А. В. Щипков – М, ПРОБЕЛ-2000, 2017. – 144 с.

ISBN 978-5-98604-613-6

Сборник «Язык» представляет собой завершение трилогии, начатой в 2013 году сборником статей «Перелом» и продолженной в 2015 году сборником «Плаха». Жанровая традиция, которой следуют авторы трилогии, связана со знаменитыми «Вехами» и так называемыми «веховидными сборниками» («Смена вех», «Из-под глыб» и др.), выходившими в свет в разные исторические периоды. Главной жанровой особенностью трилогии авторы предлагают считать прямое высказывание на общественно-политические темы, «политику поверх политики и вне политики». В числе тем «Языка» – историческая и современная семантика понятия «русский», современный либеральный язык, язык современного искусства и язык русской православной Церкви, концептосфера русской традиции. Как было и в предыдущих сборниках, авторы «Языка» не стремятся к идеологическому единообразию, но их объединяет общая повестка и общая проблематика.

ISBN 978-5-98604-613-6

© Щипков А.В., 2017
© ПРОБЕЛ-2000, 2017

От составителя

Сборник «Язык», который вы держите в руках, представляет собой завершение трилогии, начатой нами в 2013 году сборником статей «Перелом» и продолженной в 2015 году сборником «Плаха». Менялись авторы, темы, позиции, но оставался неизменным главный принцип: сохранить ту проникновенную и вместе с тем гражданственную интонацию, которую оставили нам в наследство авторы «Вех». Вопреки засилью информационных спекуляций «общества спектакля» и пропагандистским трендам мы стремились сохранить право на прямое высказывание, сохранить возможность говорить о политике поверх и вне политики.

Когда создавалась вторая книга («Плаха»), исторические события скакали галопом, и мы едва успевали за ними. Сейчас всё наоборот: мир вступил в полосу предельной неопределённости, которая, по всей видимости, является затишьем перед бурей.

В 2014-м наш народ почувствовал вкус национального воссоединения. Тогда в России закончилась гражданская война: бывшие красные и бывшие белые осознали, в чём их общие задачи и общая историческая судьба. У нас появилась уникальная возможность выскочить из исторического тупика, преодолеть своё полуколониальное состояние.

Сегодня мы вынуждены «препарировать» механизмы, которые удерживают страну в состоянии либерального застоя, не позволяя национальному большинству в законной и цивилизованной форме реализовать своё право на демократию, верность традиции и социальную справедливость. Но если мы спокойно и внимательно посмотрим вокруг, то увидим ту же ситуацию и в Европе, и в США.

Смена культурной парадигмы, а с ней и прежней социальной модели неизбежна, но искусственно «заморожена». Мы пребываем во власти устаревших дискурсов и стереотипов, которые мешают нам двигаться вперёд.

По большому счёту данная проблема — это проблема языка, важнейшего социального института, который определяет, что и как мы говорим, как мы поступаем, каков жизненный мир, который мы сами для себя создаём. И если первый том трилогии («Перелом») рассказывал читателю о том, что нам придётся делать в ближайшем будущем, второй («Плаха») — о том, кто это будет делать, то третий том («Язык») разъясняет, как, с помощью чего будет сделано то, что должно быть сделано.

Авторы сборника пытаются разобраться в причинах системных сбоев внутри современного российского дискурса. Речь идёт о том, как и почему мы строим образ собственной истории, что происходит с языком современного либерализма, каково состояние языка национальной идентич-

ности и традиции, что мы вправе и чего мы не вправе ожидать от языка Церкви и языка современного искусства.

Сегодня мир находится в состоянии перелома. В периоды, когда социальные перемены запаздывают и искусственно сдерживаются, язык является главным инструментом социальных и культурных изменений.

Почему дело обстоит именно так?

Мы говорим с помощью языка, но и язык говорит с нашей помощью. Ведь язык — вспомним Фердинанда де Соссюра — это система правил, социальное бессознательное, которое ускользает от рассудка, но формирует нашу речь и наши поступки.

Как сказать, чтобы тебя поняли? Как сказать, чтобы поняли именно тебя, а не твоего оппонента?

Экономика, конкуренция, отношения господства и подчинения, мессианизм — всё это отражается в языке, в виде «дискурсивной борьбы» (Дж. Холл), «войны икон» (П. Бурдьё), различных форм информационного неравенства. Управлять поведением больших групп людей удаётся тому, кто способен менять правила языка. Это проблема не только для философских штудий, она прямо касается повседневности.

В информационном обществе смыслом сообщения оказывается не столько утверждение или описание, сколько сама власть над слушающим,

суггестивные возможности дискурса. При желании можно объявить войну несуществующему государству, заявить о пришествии нового мессии, убедить людей в том, что с мировым терроризмом в образе длиннобородого старца ведётся успешная борьба, а толерантность обязательно спасёт мир. Или наоборот.

Мы хотим быть свободными? Тогда подумаем над тем, как мы сегодня говорим, и удалим из своей речи навязанные нам клише, избавив себя от идеологем, которые нам дали в нагрузку к нашему родному языку. Только тогда мы сможем по-настоящему понимать друг друга.

Обсуждение языка и его правил — первый шаг к смене социальной парадигмы, и этот процесс сегодня набирает силу. Он необратим.

Жажда Большого стиля стучится в сердца европейцев и американцев, она разрушает индустрию лжи и фальсификаций, выстроенную финансовой олигархией. Люди всерьёз решили вернуть себе законное право на прямое высказывание, право говорить между собой на более человечном языке.

Путь к прямому высказыванию и живому общению лежит через смену языка. Пусть на первом этапе наша речь будет проста и безыскусна, зато ничто не помешает нам сказать друг другу именно то, что мы хотим сказать. Нас ждёт освобождение языка.

А. Щ.

Я З Ы К

Русский

Смена политических настроений влечёт смену политического языка и политического мышления. В XX веке в России дважды менялся язык — после революции 1917 года и в период перестройки с объявлением «нового политического мышления». В оборот вошли новые обращения к людям, названия улиц и городов, оценки исторических фигур, наименования главных государственных учреждений и даже самоназвание народа. Новый язык давал новый взгляд на мир, ценности, идентичность.

После перестройки и проведённых реформ в России утвердился либеральный политический язык — язык международного общения и современной западной культуры. Россия его усвоила, но в отличие от западного мира не успела им воспользоваться. Кризис постмодерна в культуре и закат эпохи однополярности в международных отношениях начали требовать новой парадигмы мышления и нового языка, способного адекватно описывать современный мир. Вчерашние базовые понятия стали рыхлыми и потеряли однозначность — свобода, права человека, мультикультурализм, демократические ценности, гражданское общество. Уже через десять лет после перестройки стало не хватать слов, чтобы власти и народу общаться между собой и с остальным миром.

Россия стала предлагать новый язык. С этого времени повторяющийся посыл выступлений российских

лидеров на международных площадках заключался в том, что мир стремительно меняется, а старая парадигма мышления его критически искажает, ведёт к непониманию и новым кризисам. При этом российский политический класс и интеллектуальная элита в последние годы начали приходить к мысли о том, что, прежде чем добиваться понимания от международного сообщества и экспортировать свой язык, необходимо укрепить собственный понятийный аппарат. То есть ответить для себя на вопросы о собственных ценностях и идентичности.

В. Путин в своём выступлении на заседании клуба «Валдай» в 2013 году фактически признал, что укрепление государства на внешнеполитической арене тормозится аморфностью внутренней картины общества, его ценностей и задач. Поэтому одним из ключевых вопросов современной России, по его словам, становится вопрос «кто мы?». Сам этот вопрос для страны с многовековой историей звучит с элементами трагизма, усиливающегося тем, что у народа России есть чувство собственной идентичности, но нет устойчивого самоназвания.

Мы называем себя россиянами, многонациональным и многоконфессиональным народом. К нам обращаются как к «гражданам России», а также определяют как союз братских народов. В последнее время, чтобы уйти от этих невыразительных имён, общество всё чаще олицетворяет себя с названием самого государства: «мы — Россия», «мы — Русский мир», «мы — Российская / Русская

цивилизация». В итоге так сложилось, что в геополитическом масштабе мы понимаем себя более ясно, чем в национальном, потому что название страны у нас звучит более конкретно и содержательно, чем наименование народа.

Самоопределение народа усложняется и на фоне укрепления его национальных меньшинств. Парад идентичностей в национальных республиках, начавшийся в 1990-е годы, сегодня достиг своего пика. В то время как после распада СССР Россия вошла в систему западной глобализации, её внутренние национальные регионы нашли точку опоры в стремительном локальном национализме. Россия испытала то, что сегодня модно называть глокализацией — одновременным процессом глобализации и локализации, то есть разложением государственной субъектности на национализм и глобализм.

Современная глобализация поощряет местный патриотизм больше, чем государственный. Быть патриотом отдельного субъекта федерации или отдельного российского города в глобальной парадигме более престижно, чем, например, быть патриотом Русского мира. Патриотизм же в масштабе крупного политического образования чаще называется «имперскими амбициями». Развиваясь, эта идея поощряет этнический изоляционизм, а также регионализм — процесс искусственного конструирования новых региональных идентичностей (новых сибиряков, калининградцев, поморов, ингерманландцев и других).

Эти обстоятельства стимулируют общество искать интегрирующие смыслы и названия. В качестве наиболее перспективной на сегодняшний день рассматривается идея России как страны-цивилизации, которая позволяет сформировать образ единого полиэтнического и поликонфессионального государства, базовыми элементами которого остаются русская культура и традиционные христианские ценности. Идея цивилизации становится политически востребованной, поскольку позволяет говорить об общем, избегая частных, и эффективно разрабатывать внешнюю доктрину, откладывая внутреннюю.

Однако баланс между внешней и внутренней (общенациональной) идентичностью в современной России хрупок. Образ России как участника международных отношений, бесспорно, ярок и содержателен. Мы хорошо знаем, кто мы в мире и в чём заключаются наши международные интересы. И международному сообществу сразу понятно, о ком говорится, когда речь заходит о России, потому для него мы оставались «Russians» всегда: и при царе, и при советской власти, и при либерализме. Ярко выраженной и понятной также является местная, этно-региональная идентичность российских национальных республик. Однако общенародная, консолидированная идентичность по-прежнему воспринимается жителями страны туманно и не успевает за динамикой как международных, так и внутренних регионалистских процессов. Народ России являет-

ся большой абстракцией и условным обобщением, понятие о нём не структурировано и не конкретно. Эту ситуацию закрепляет термин «россияне», который является в большей степени географическим, а не ценностным, и расширительным, а не конкретизирующим. «Россияне» не способны соединить глобальную идентичность России с развивающимися в российских регионах этническими идентичностями и стать механизмом культурно-исторической сборки народа. Получается, идентичность есть, а эффективно работающего термина нет. Отсюда рождаются странные вопросы, которые задаёт себе государство с тысячелетней историей.

Так сложилось, что после завершения советского периода использование термина «русские» стало символом идеологической власти. Безопасно применять его смогли те круги, которые руководили общественным мнением. Поэтому первоначально монополия на «русских» сохранялась исключительно у либерального дискурса. Затем стали появляться новые центры силы, влияющие на формирование информационной повестки дня, среди них — партии, армия, Церковь, новое политическое руководство и пр. Это послужило причиной, по которой у термина «русские» постепенно появились разные эмоциональные интерпретации, что привело к двум последствиям: во-первых, он перестал быть табуи-

рованным, а во-вторых, между его интерпретациями началась борьба.

Либерал-демократы

Либералы, пришедшие к власти в новой России, долгое время оставались единственной силой, у которой было право использовать слово «русский». В это время утвердилась своеобразная норма, что русским можно называть только то, что имеет либо антисоветский подтекст («Русская освободительная армия», «Русская мысль», «Русская служба Би-Би-Си»), либо является «новым русским», то есть вненациональным и не связанным с историческим русским народом («Русское радио», «Русский журнал»).

Термину «российский» в это время была отведена официальная роль. В этом слове не было ничего интеллектуального, идеологического и вообще яркого — «Российская газета», «российское общество», «российские власти». Исключительно «российскими» также стали музыка, история и армия. Единственным, что невозможно было переименовать, была русская литература. С одной стороны, введение «российской литературы» означало бы стилистическое усиление слова «российский», придания ему фундаментального значения и лишения его нейтрально-официозного смысла. Тем более сложно было бы назвать российскими писателями одновременно Пушкина, Достоевского, Булгакова и Набокова. С другой стороны,

новая интеллигенция 1990-х годов не хотела отказываться от всемирно известного бренда и его символического капитала. Примеряя статус русского писателя, она получала дополнительную возможность социализироваться в современном западном культурном и информационном пространстве. Осознавать себя русским писателем по-прежнему приятно и в Лондоне, и в Цюрихе.

Либерал-националисты

Тогда же в 1990-е годы в России появился необычный идеологический гибрид, совмещающий либерализм с русским национализмом. Частично он был заимствован у европейских национал-демократических и национал-либеральных партий, частично изобретался заново.

Либерал-националисты возникли и действуют за чертой или на грани допустимого политического дискурса и нередко являются маргиналами, впрочем, осознанно. Они являются ветвью российских либерал-демократов, а их роль заключается в том, чтобы карнавализовать и маргинализировать русскую тему, лишить её самостоятельности, не дать превратиться в консолидирующую силу. Они отнимают у термина «русское» ценностно-историческое содержание и наполняют его националистическим смыслом (Жириновский, Крылов, Просвирнин).

Кроме того, либерал-националисты создают в информационном пространстве искусственный

и управляемый градус русского национализма. С одной стороны, «русская угроза» легитимирует либерал-демократов и способствует укреплению мифа о том, что они остаются единственной силой, охраняющей в обществе начало цивилизации перед лицом националистического хаоса. С другой стороны, либерал-националисты не отказываются от политического ресурса русской темы. Они создают из русских образ угнетаемого меньшинства и загоняют их в психологическое гетто (мы за бедных, мы за русских), поскольку именно из меньшинств технологически состоит современное протестное движение (Белковский, Навальный, Национально-демократический альянс). В случае успеха их ждёт политическое эльдорадо: если сделать из большинства «меньшинство», то оно станет самым влиятельным меньшинством и достаточной силой для смены власти в стране.

Таким образом, либерал-националисты окрашивают термин «русские» в националистические тона, лишая его общекультурного содержания, а также применяют его в значении протестно настроенного политического меньшинства.

Новые модернисты

Либеральный подход строится на постмодернистских принципах и окрашивает термин «русские» в противоречивые тона. «Русское» стало означать и «антисоветское», и «тёмный национализм», и «угне-

таемое меньшинство». Попытки противостоять этой интонации привели к возрождению и укреплению в российском дискурсе модернистского подхода. Мировоззрение модерна и производных модернистских течений возникло и долгое время существовало как способ отрицания или по крайней мере коренного переосмысления Традиции. Однако в сегодняшних условиях модерн, уступивший место эпохи постмодерна, сам стремится занять нишу классики и стать новой традицией, главной антитезой постмодерна. Современный модерн пытается вложить в термин «русские» дух советского патриотизма, национализма и мягкого атеизма.

Фактически российские модернисты (Зюганов, Кургинян, Проханов) используют слово «русский» как частное проявление «советского» и конструируют новых «русских-советских». Отсюда берут своё начало все стилистические особенности этого подхода. Сегодня у модернистов русский народ предстаёт как, безусловно, народ имперский (в советском понимании), необязательно православный, но уважающий православие, безнадежно ностальгирующий по советским достижениям, стремящийся в большей степени к техническому развитию, чем к гуманитарному, а также к историческому реваншу за поражение в холодной войне. Образ русских в современном политическом модерне часто состоит из простого рабочего народа, не имеющего ярко выраженных национальных особенностей, но стремящегося к реставрации СССР или подобного сверхгосударства. Русская куль-

тура при таком подходе рассматривается скорее как стратегический элемент сохранения государственности, чем самоценность.

Современные модернисты используют концепт «русские» как простое неизменное целое, как обязательную деталь государственного каркаса. Основная особенность этого взгляда в том, что он лишён психологизма. Для него не существует вопросов Достоевского о природе русской души и метаисторических размышлений Соловьёва о русской идее.

Русское зарубежье

Особый взгляд на слово «русские» сформировался вокруг темы русского зарубежья, зазвучавшей в России с началом перестройки. Она соединила в себе интерес к жизни и творчеству русской эмиграции, дореволюционной России и утраченной дворянской культуре. Сильным толчком для пробуждения этого интереса послужило массовое издание в России научных и мемуарных трудов эмигрантских авторов в 1990-е годы. Вскоре после возвращения А. И. Солженицына в Москве был открыт Дом русского зарубежья, задачей которого стало сохранение и популяризация «духовной и материальной культуры русской эмиграции». Современное сообщество зарубежных русских не использует термин «российский»: только «русская эмиграция», «Русская Америка», «русская история», «русский путь», «Русский мир» и др.

Понятие «русские» в языке зарубежных ассоциируется с высшим, наиболее образованным сословием, хранителями высоких традиций исчезнувшей России, а также с неприятием большевизма и всей советской стилистики. Гражданская война в образе этого слова играет большее значение, чем любое другое историческое событие. Кроме того, многие эмигранты принадлежали к дворянам, поэтому и самоназвание «русские» приобрело у них оттенок высокой сословности, значение былого величия.

Наконец неотъемлемой семантической частью этой трактовки «русских» является православие, которое наравне с русским языком стало важнейшим атрибутом идентичности людей русского зарубежья. Православие играло важную идеологическую (осуждение гонений на Церковь советской властью) и символическую роль (православная обрядовость, церковнославянский язык воспроизводили образ до-революционной России). Русские общины за рубежом жили с чувством, что сохраняют историческую русскую веру и являются последними её носителями. Несмотря на то, что поколения эмигрантов физически, информационно и духовно погрузились в другую реальность, служили в армии, становились патриотами своих новых стран и постепенно забывали русский язык, именно православная самоидентификация зачастую позволяла им считать себя русскими.

Интонация русского зарубежья была для пост-советской России свежей и востребованной. Она

стала чуть ли не единственно возможной для выражения ностальгии по царскому времени. Позже, уже в 2000-е годы, затушевав в ней природный антибольшевизм, её переняли теоретики концепции Русского мира — российские историки и общественные деятели (Фонд исторической перспективы, Институт демократии и сотрудничества, Российский институт стратегических исследований, фонд «Русский мир» и другие).

Неоязычество

Националистические движения в новой России оказали сильное стилистическое влияние на современное звучание слова «русские». Несмотря на многообразие этих организаций (участники «Русского марша», НБП, неонацистские группы) и пестроту их идеологий (имперцы, гитлеровские, международные и славянские неонацисты и др.), их интонация сводится к единому восприятию русских — примитивно-языческому. Она включает выраженную неприязнь к иноплеменникам и идею о собственном генетическом превосходстве. В своей основе этот взгляд зиждется на мистике крови и биологическом языке. Мистика крови наполняет движения националистов эмоциональной энергией, а биологизм служит рациональной основой для выстраивания и поддержания их учений. Эта интонация обращена в большей степени к люмпену, ей показана примитивность. Попытки неким образом

усложнить это языческо-биологическое понимание «русских» ведут к быстрому разложению идеологических конструкций подобных националистических движений. Православие, русская история, литература и философия являются малозначимыми факторами в учениях этих организаций, так как не играют решающей роли в вопросе о сохранении биологического вида. Иногда эти области прямо объявляются идеологически враждебными, а если и признаются, то используются формально, в отрыве от их христианского этического и нравственного содержания — для формирования неоязыческого русского стиля.

Наиболее близко к этому подходу стоят либерал-националисты. Неоязычники так же, как и либерал-националисты, изображают русское большинство в парадигме угнетаемого меньшинства и настроены против центральных властей, обвиняя их в неграмотной национальной политике. Главное отличие в том, что неоязычники вкладывают в слово «русские» нехристианский мистический пафос. Стилистический мистицизм окрашивает неоязыческих националистов (как правых, так и левых) и сам термин «русские» в тёмные тона. В то же время либерал-националисты остаются в светской, либеральной парадигме и редко увлекаются языческой мистикой. Тем не менее из-за идейной близости этих лагерей могут возникать трудности в проведении между ними разграничительной линии.

Антиглобалисты

Российские движения антиглобалистов развиты слабо, они своеобразны и только отдалённо могут напоминать западные аналоги. Их риторика тоже направлена на критику транснациональных корпораций, концепции золотого миллиарда, современной массовой культуры, принципов глобального капитализма и идеологии неолиберализма. Отличительная же особенность отечественных антиглобалистов — в широком использовании православной и патриотической стилистики («Русская народная линия», «Встань за веру, русская земля», «Союз православных хоругвеносцев», «диомидовцы», противники ИНН и др.). Они активно употребляют слово «русские», в которое вкладывают своё особое мироощущение. Обострённое эсхатологическое восприятие современного исторического процесса и взгляд на мир как на агрессивную-враждебную среду приводят их к оборонительной идеологии: русские — это окружённая крепость, остров добра в мире расползающегося глобализма. Это развивает у антиглобалистов конспирологический стиль мышления, а также два основных чувства: обречённости и избранности. Первое придаёт подобным движениям, как правило, депрессивную эмоциональную стилистику, второе — позволяет их участникам ощутить свою уникальность и надсторичность. Это непосредственно отражается на содержании используемого слова «русские»: русские в словаре антиглобалистов являются жертвой обмана

и тайного заговора мировых элит. Это избранный народ, он сохраняет в мире правду и становится по этой причине главной мишенью глобального зла, что ведёт к его гибели. Русский — тот, кто обречён на гибель.

Конспирологический способ мышления отечественных антиглобалистов толкает их к постоянному поиску тайных мотивов и замыслов в текущих общественно-политических событиях. Обнаруживая «скрытые смыслы», они их накапливают, обобщают и используют для построения собственного взгляда на мир, что зачастую ведёт к эзотеризму (например, в построении собственного эзотерического учения иногда обвиняют православных борцов с ИНН). В своей основе эзотерика происходит не только из склонности к мистицизму, но также из аналитического мышления — попыток рационально объяснить процессы, ощущаемые интуитивно.

Определённое влияние на формирование и распространение такого мышления оказало сообщество силовиков. Оно, с одной стороны, всегда ощущает себя над обществом, которое защищает, а с другой — существует в состоянии постоянной борьбы с угрозами и оппонентами, в том числе планируемыми — гипотетическими и воображаемыми. Важнейшей задачей силового сообщества является предвидеть угрозу там, где её не увидит простой человек. Это самоощущение избранности и работа с секретной информацией (тайным знанием) могут приводить к конспирологическому стилю мышления, проникающему и в публичное

пространство. Это косвенно подтверждается тем, что в России в начале 1990-х годов выходцы из силовых структур создали ряд известных эзотерических сект (например, КОБ).

Церковь

Восстановление храмов и приходской жизни в новой России привело к постепенной реабилитации церковного языка в информационном пространстве. Первые десять лет телеведущие произносили названия православных праздников и богослужебных терминов с большим трудом, путая ударения и запинаясь. Давало о себе знать не только отсутствие подобной лексики в советское время, но и устойчивое ощущение её табуированности: в советском обществе она была за гранью приемлемого дискурса. Впоследствии эта ситуация была преодолена. Сегодня светское общество научилось понимать церковную лексику, и сама Церковь стала разговаривать с обществом вне церковной ограды, всё чаще используя светский язык. Таким образом, на стыке церковной и светской лексики формируется современный язык Церкви, который оказывает влияние на все сферы общества, в том числе на значение слова «русские». Сегодня в Русской Православной Церкви существует два основных восприятия русской темы.

Первый подход основан на опыте русского зарубежья, он полностью отражает его эстетическую

и политическую стилистику, в которой «русскость» означает высший образованный класс, антибольшевизм, ностальгию по царской России. Он присущ в большей степени тем православным и духовенству, которые причисляют себя к интеллигенции, однако оказывает колоссальное влияние и на остальную часть Церкви.

Второй подход к «русскости» тесно связан с народным православием, деревенским бытом, натуральным хозяйством и экологией. Многие приходы воспринимают русскость и православие через образ утерянного крестьянского быта, который пытаются реконструировать. Этому подходу способствует уклад большого количества современных монастырей, которые занимаются животноводством и сельским хозяйством. От них пошло целое направление современной православной народной и экологической стилистики, основанной на идее чистого питания (монастырский хлеб, травяные сборы, мёд и другие продукты). Этот неодеревенский стиль пользуется популярностью в современном урбанизированном обществе. Связывая русскую православную идентичность с селом и природой, Церковь фактически создаёт новую экологическую субкультуру.

Обе русские идентичности — «зарубежная» и «деревенская» — развиваются в Церкви параллельно и не враждуют между собой. Основные идеологические процессы происходят внутри «зарубежной» идентичности, которая за последние годы постепенно перестала вмещать всю сложность церковно-

общественных процессов в России. Сегодня в Церкви происходит её постепенная трансформация, в первую очередь через преодоление её антибольшевистской политизированности, характерной для эпохи холодной войны.

Как отмечалось выше, тему русского православия активно используют различные центры силы (модернисты, антиглобалисты, неоязычники и др.). Однако православная символика, наравне с любой другой, является для них строительным материалом. Они занимаются конструированием собственных дискурсов, которые нужно отграничивать от языка самой Церкви.

Russians

Участники современных политических дискуссий часто обращают внимание на то, что в большинстве иностранных языков (за исключением, например, белорусского и украинского) отсутствует понятие «российский». Общегражданская нация, как и национальность, на немецком, английском, французском, турецком и т.д. обозначается одним словом — русские. В России при изучении иностранных языков и подготовке переводчиков учат различать, в каких случаях иностранное «Russisch», «Russian», «Russe», «Rus» и т.д. нужно переводить как «русское», а в каких — как «российское».

Целостное восприятие иностранцами российского общества как русского можно почувствовать

в бытовом отношении, когда оказываешься за рубежом — там название приезжих из России меняется на «русские», независимо от их национальной принадлежности. Российские олимпийцы, оказавшись на соревнованиях в зарубежных странах, оказываются русскими спортсменами. Кроме того, иностранное «Russians» влияет на восприятие общегражданской нации и в России. Определение себя «русскими» в значении, стилистически близком к «Russians», часто можно встретить в Министерстве иностранных дел и армии. Сказывается привыкание к тому, что зарубежные партнёры и потенциальные противники тебя называют русским, а не российским. Кроме того, работает память о войнах, главным образом о Великой Отечественной войне, когда немцы шли войной не на россиян и не на многонациональный советский народ, а на русских. Великая Отечественная война сакрализовала понятие «русские», вывела его из узкого национального значения, сделала его историко-культурным, ценностным и распространила на весь народ.

Русская литература

Русская классическая литература сегодня остаётся почти единственной фундаментальной областью, где сохраняется вся сложность и одновременно целостность понятия о русском народе. По охвату и глубине она далеко опережает перечисленные выше факторы, включая память о пережитых народных вой-

нах. Русская литература описала русских как народ предельного нравственного и религиозного поиска, но не имеющий тяги к догматизированию; христианский и обладающий вселенским сознанием, но противный глобализму; подпольный, но лишённый маргинального самообмана; познающий мироздание через взгляд в собственную душу, но чуждый националистической этике.

Классическая литература не может самостоятельно преобразовывать современность. Несмотря на свою искренность и величие, она неизбежно будет становиться инструментом в руках творцов от мира. Литература является ценнейшим ресурсом, но не политической силой.

Трагический пафос расщеплённости понятия «русские» в современном русском языке не должен вводить нас в заблуждение. Многообразие «русских» свидетельствует не о слабости русской идентичности, а о многообразии сил, которые борются за право её трактовать.

После распада СССР и окончания бытия советского народа был введён термин «россияне». В течение 1990-х годов стало понятно, что ему не удаётся стать собирательным названием общенародной идентичности. «Российскость», родившаяся во время кризиса государственности, так и осталась сырой идеей, символизирующей эрзац-национальность эпохи ради-

кального либерализма. В это же время начались болезненные и стихийные поиски новой национальной идеи, которые были остановлены почти административно при новом руководстве в начале 2000-х годов, когда бесплодность этих поисков стала очевидной. С приходом к власти В. Путина в стране наступила большая эпоха внешней политики, при которой логика политического мышления исходила из приоритета международного над внутренним в решении дальнейшей судьбы России. Большинство политических побед этого периода связаны именно с внешней политикой: отражение агрессии в ходе «пятидневной войны», Таможенный союз, Олимпиада в Сочи, Крым, Сирия. И во внутренней политике основные преобразования связаны с попытками укротить и приручить агрессивный иностранный капитал в информационной и экономической сфере. За прошедшие с этого момента семнадцать лет международная идентичность России укрепилась настолько, что стало более престижно ассоциировать себя с названием страны, а не её народа. В современном русском политическом языке Россия — это больше, чем название государства. Это и цивилизация, и судьба, и ответственность.

Эта эпоха выполнила свою задачу и подходит к своему завершению. Если можно говорить о масштабах международной идентичности России, то в сегодняшних условиях она достигла своего максимума. Дальнейшее развитие страны упирается в неопределённость внутренней идентичности, что сегодняшнее политическое руководство осознаёт с полной ясностью.

Если первый этап охарактеризовался переходом от «россиян» к «России», то на втором этапе произойдёт переход от «России» к «русским», как собирательному названию общенародной идентичности, в основе которой лежат русский язык, русская культура и христианская этика — те элементы, на которые всегда опиралась российская государственность.

Во внутренней политической дискуссии сегодня намечается противостояние не между сторонниками «россиян» и «русских», а за интерпретацию самого понятия «русские». Ни одна из существующих сегодня трактовок не даёт чёткого фокуса. Объединить их, лишив либеральных и националистических отягощений, и сформировать ясный и открытый образ народа России — задача наступающей политической эпохи.

Василий Щипков

Большая война

В современной России контроль за информацией монополизирован политическими группами, которые стоят на компрадорских позициях. Это ведёт к постоянному воспроизводству конструктивистских идеологем, которые выдаются за безусловные очевидности, — например, за стандарты современного цивилизованного общества. Но подобные «очевидности» противоречат интересам общества и нарушают живую связь народа с собственной традицией. Одной из таких идеологем может считаться навязанная обществу привычка к изолирующему историческому мышлению. Она в первую очередь свойственна публичным формам историзма, для которых особое значение имеет проблема языка исторического изложения.

I

Что такое изолирующее историческое мышление? Это мышление основано на понимании XX века и прежде всего советского периода как некоего аномального отрезка национальной истории, рассекающего время «до» и время «после». К такому подходу склонны как сторонники, так и противники «красного проекта». Разница между ними состоит лишь в оценках, в перемене «плюса» на «минус». Причём эти противоположные позиции взаимно усиливают друг друга, создавая матрицу исторического сознания, ко-

торая сохраняется в коллективной памяти и передаётся десятилетиями. Разница в оценках советского периода не затрагивает структурные модели исторического подхода и создаёт очень узкий коридор для разных точек зрения, представляющий собой классический пример ложной альтернативы. В рамках такого коридора мнений XX век, как в «просоветском», так и в антисоветском дискурсах, превращается в некую аномальную зону исторического времени, не подвластную общим законам культурно-исторической динамики, в «вырванный лист истории».

По существу этот взгляд подразумевает, что национальная традиция прерывается дважды за век — в 1917-м и в 1991 году, — а взамен начинается абсолютно новый проект. Но на самом деле это вопрос скорее «эпистемологии», нежели «онтологии» истории. Ведь когда мы принимаем за аксиому тезис о том, что череда революций XX века — это неоднократный разрыв традиции, мы задним числом конституируем и сам факт, и степень этого разрыва. В связи с этим возникает естественный вопрос: являются ли важнейшие события XX века полностью завершившимися в действительности или только наша трактовка этих событий даёт им окончательное логическое завершение?

Похожий стереотип присутствует и в западном осмыслении эпохи модерна (условно с 1793-го до 1991-й), хотя и выражен в гораздо меньшей степени, чем в России.

Идея начать историю с чистого листа, сбросив всё лишнее с корабля современности, характерна как для

первых лет советской власти, так и для периода 1990-х годов. В обоих случаях присутствует желание порвать все связи с «проклятым прошлым». Но если в первом случае речь шла о реализации некоего социального проекта (проекта «младшей», коммунистической версии модерна, противостоящей «старшей», либеральной), то второй разрыв исторически был направлен просто в никуда. Ни о какой преемственности по отношению к традициям дореволюционной России речи на самом деле не шло, да и нельзя дважды войти в одну реку.

На деле исторический разрыв 1990-х использовался и используется влиятельными политическими элитами в крайне неблагоприятных целях, а именно чтобы подтолкнуть общество к сознательному отказу от социальных прав, а государство — к сбросу социальных обязательств и уничтожению культурного опыта почти целого столетия. Такое искусственное обнуление национального опыта дезориентирует общество и отбрасывает страну назад.

В коллективной памяти насильственно утверждается модус разрыва вместо модуса преемственности. В этих условиях общественное сознание работает в режиме самоотрицания, порождая губительную для нации негативную идентичность и нигилистические культурные модели, не способные к созданию и трансляции новых смыслов. Чтобы это понять, достаточно провести аналогию с самосознанием отдельного человека или семьи и задуматься о том, насколько опасны приступы беспамятства и каковы могут быть их последствия.

Поэтому одна из важнейших задач национально мыслящих интеллектуалов состоит в защите принципа исторической непрерывности и целостности традиции. И наоборот — в избавлении общества от влияния доктрины локального, изолирующего историзма, выросшего на стыке коммунизма и антисоветской контрротопии. Необходимо поставить под вопрос монополию конструктивистского, технократического мышления и обеспечить складывание новой модели историзма в обществе. Такой подход является необходимым условием всякого национального целеполагания.

II

Кто-то из историков XX века утверждал: «История — это политика, опрокинутая в прошлое». Следовательно, не существует идеологически и политически стерильных исторических концепций. Данное замечание совершенно справедливо, но оно учитывает лишь один аспект опосредованности исторических концепций — политико-идеологический. На самом деле избирательность историцизма даёт о себе знать ещё до всякой политики. Нельзя написать историю всего на свете. Существуют истории революций, истории династий, истории культур. Историческая дисциплина избирательна по самой своей природе. Любой исторический дискурс предполагает выбор предмета изложения и позиции рассказчика, а это, в свою очередь, предполагает предварительный выбор языка. Очень важную роль играет набор символов, ключевых по-

нятий и модальностей того языка, который мы используем. Важен он, разумеется, и для разговора о последнем периоде нашей истории.

Большая проблема такого разговора, помимо изолирующего, локального, «короткого» исторического мышления, состоит в несоответствии предмета и языка изложения. Современный исторический язык сложился на волне отрицания марксистского исторического материализма. И, как во всех подобных случаях, критика марксистского понимания исторических закономерностей неизбежно вела к игнорированию категории исторических закономерностей вообще (аналогичным образом отрицание советской модели социального государства вывело само понятие «социальная справедливость» за рамки идеологических нормативов).

Поэтому сложившийся публичный исторический дискурс как бы специально приспособлен для описания окказиональных явлений. Он представляет историю как набор трагических случайностей и почти исключает разговор о «длинных» исторических закономерностях, как если бы это был язык авантюрного или готического романа. Этот язык создаёт впечатление некой изначальной неаутентичности истории вообще и национальной истории в особенности. На концептуально-теоретическом уровне эта модальность поддерживалась и поддерживается рассуждениями о «нищете историцизма» (К. Поппер), «конце истории» (Ф. Фукуяма), переходе «трагедии в фарс» и другими претендующими на весомость или остроумие ри-

торическими формулами. Можно также сказать, что язык современного публичного историзма — это язык описания псевдоморфоз. Такой язык вместо развития нации, национальной традиции или иных сообществ описывает зигзагообразную логику жизни политических режимов и смену «элит»: в нашем случае в основном февральской, большевистской, среднесоветской, позднесоветской и постсоветской.

Язык исторического описания русской истории XX века формирует и конституирует собственный предмет описания, погружая общественное сознание в хронический коллективный невроз по поводу собственного «ужасного», «кровавого», «абсурдного» прошлого. Картинка же, которая в итоге получается, напоминает кукольный театр в сильно накуренной комнате, где от табачного дыма можно топор вешать. Это результат несоответствия языка предмету описания. Такой язык, конечно, не применим для изложения истории народа.

Но есть ещё одна проблема — несоответствие языка и метода. Нам требуется описание исторического процесса с точки зрения включённого наблюдателя, то есть носителя русской культурно-исторической традиции. Это такая традиция, для которой в силу византийского культурного влияния характерен системный и континуалистский взгляд. И этот взгляд не совместим с технократическим языком космополитического, глобалистского общества позднего модерна, которое противостоит обществу развивающейся традиции и живёт за счёт его отрицания. Зато он хорошо

совместим с языком критического рационализма внутри самого модерна. Язык этого направления (например, исторической школы миросистемного анализа) достаточно критичен, он скептически реагирует на генерализацию либерально-позитивистского взгляда на историю. Такой язык вполне совместим с субстанциалистским взглядом — например, с языком школы «Анналов» или религиозной ортодоксии.

Такой критический, антипозитивистский язык «альтернативного» модерна (или антимодерна) элементарен языку традиции. Его рационализм не отрицает, а подкрепляет и обогащает язык любой национальной традиции. Язык истории, который мы выбираем, — это язык прямой причастности акторов исторического процесса к национальным задачам, ценностям и проектам будущего. Так, например, ушедшие поколения в рамках этого типа историзма имеют право голоса в определении важнейших установок в проектах будущего. Именно этот язык позволяет реализовать принцип исторической непрерывности сопричастности, что прямо связано с нашей русско-византийской культурой. Поэтому ему неизбежно предстоит стать частью нового исторического дискурса.

Новый язык всегда входит в противоречие с остаточными элементами прежней, отжившей своё исторической идиоматики, которая отражает систему сложившихся и порой устаревших концептов. Селекция этого материала не может быть проведена моментально, как бы нам этого ни хотелось. Но запустить

этот процесс необходимо, и начать его следовало бы с тщательного отделения знаний от оценок, избегая при этом смешанных причинно-оценочных суждений. И анализ, и оценки необходимы, но не как части одного целого, а как две совершенно разные практики. Это подразумевает наличие двух субдискурсов в составе публичного исторического дискурса и два разных лексическо-терминологических ряда. Один применяется к культурно-исторической динамике в целом (например, «формы общинного уклада», «интеллигентский критицизм», «нравственная доминанта русского правосознания», «феномен самозванства», «культурный полифонизм», «категории византийской культуры» и т. п.). Другой — к оценке конкретных поступков конкретных людей, например, когда речь идёт об убийстве Павла I или Николая II или о неправосудных решениях и диктаторских практиках в период становления советской государственности.

Иной подход ведёт как минимум к доктринёрству, что, к слову, в итоге создаёт почву для гражданских расколов. Ведь как только мы останавливаем наш анализ причинно-следственных связей ради оценок, мы попадаем в ловушку каузальной асимметрии, то есть из ряда факторов, повлиявших на некий результат, мы задним числом произвольно выбираем один фактор и называем его основной причиной произошедшего. Например, убийство Петра Столыпина и нерешённость земельного вопроса зачастую становится едва ли не единственной причиной революции. Или мы можем вывести на первый план гражданский

аспект и говорить, что революцию подтолкнули Цусима и поражение в войне с Японией. Это поражение советская историография объясняла «отсталостью царизма», упуская при этом фактор серьёзной помощи Японии со стороны Британии, которая привычно отводила себе роль координатора системы сдержек и противовесов в пределах Евразии. Можно говорить об ошибках в информационном обеспечении войны 1914 года — солдаты перестали понимать, за что воюют.

Каждый из названных факторов достаточно важен, но построение концепции на основе только чисто событийной причинно-следственной логики всегда ведёт к перекосам и выпячиванию одного из факторов. Поэтому продуктивнее строить историческое описание на основе социокультурной динамики, а не на основе каузальных связей. Необходимо в первую очередь смотреть, как реализуют себя в каждой исторической ситуации и в каждом конкретном ряду причин и следствий устойчивые и закономерные архетипы традиции. И тогда мы лучше поймём движущие силы октябрьских событий 1917 года, а именно крестьянское эсхатологическое понимание революции как «всеобщего поравнения» и репетиции Суда, поймём связь 1917 года с последствиями Раскола и всего XVII века, с пугачёвщиной и законами крестьянского «мира». Иными словами, подлинная задача публичного историка состоит в том, чтобы отслеживать единую матрицу и динамические закономерности русской истории, сложившиеся с момента её православно-византийского выбора и отнюдь не «отменённые» 1917 годом, что

бы по этому поводу ни писали большевистская, эмигрантская пресса или либеральная пресса 1990-х.

Следовательно, в ближайшее время нам предстоит тщательное переосмысление архива знаний, накопленного за советские и постсоветские десятилетия, применительно к русскому XX веку. Но при этом речь идёт не об отрицании или апологетике каких-то тенденций — это было бы прямым и грубым идеологическим вмешательством или актом гражданской веры, но никак не явлением науки. Речь идёт о формировании продуктивной макроисторической концепции событий, основанной на желании видеть лес за деревьями и использовать это понимание для принятия актуальных решений в нынешних исторических обстоятельствах.

III

Середина и конец XX века тесно связаны с военной темой. В событийном, а не в календарном отношении XX век по-настоящему начался в 1914 году вместе с Первой мировой войной, которую современники называли Великой. Более того, военные перипетии в значительной мере определили всю логику событий последнего столетия, в том числе революционных и постреволюционных.

Для любого разговора о Первой мировой, её последствиях и рецидивах, важен языковой аспект. Это касается и хронологии (в какой системе понятий описывать 1914-й и в какой — 1941-й), и вариантов на-

званий (Первая, Великая, Отечественная), и совмещения субдискурсов описания внешнего и внутреннего рядов событий (мировая и гражданская).

Отметим, что Первая мировая война, её смысл, цели и итоги были и остаются в нашей стране крайне непопулярной темой. Эта аномалия проявилась особенно ярко в 2014 году, когда столетний юбилей войны практически никак не был отмечен на официальном уровне, СМИ как будто воды в рот набрали; говорить о причинах, целях и смыслах 1914 года является едва ли не неприличным. Надо сказать, что это игнорирование важнейших событий начала века наблюдалось и в советское время, и после него. Причина замалчивания будет ясна, если обратиться к теме «красного проекта».

И коммунистическая, и антикоммунистическая точка зрения вычленяет период 1917-1991 годов из потока русской истории как радикальную смену не просто *общественной модели*, но и самой *русской идентичности*, что, конечно, противоречит исторической реальности. Как советской, так и антисоветской партиям необходимо, чтобы «красный» период считался осевым временем русской истории, оттягивал на себя все национальные смыслы и проблемы. Это, вне всякого сомнения, эпистемологическая ловушка и для обывателя, и для историка. Поскольку таким образом утверждается модель национальной истории в виде непрекращающегося разрыва традиции, задаётся образ исторического безвременья, остановки процесса формирования нации и, наконец, раскола народа на

красных и белых. Позитивно или негативно оцениваются при этом события времён СССР — в конечном счёте не так уж важно. Важно то, что осевое время «красного проекта», хорошего ли, плохого ли, взрывает единство исторического процесса на уровне описания. Это вместо того чтобы встроиться в общий поток русской истории на общих основаниях. Обществу в историческом смысле не дают «играть вдолгую», мыслить стратегически.

При этом на периферию исторического сознания вытесняются очень важные универсальные, объединяющие, конвергирующие смыслы истории. Прежде всего, такие смыслы, которые не отменяются никакими революциями и внутренними войнами, которые связаны с воспроизводством традиции. Те самые смыслы, которые неизбежно находили свои формы и в советском коллективном сознании, но только не в виде официальной идеологии, навязанной сверху, а в виде восприятия советского проекта самим народом — снизу. Одним из таких вытесненных в историческое бессознательное смыслов является, к сожалению, память о «войне четырнадцатого года».

Лишь в самое последнее время появились слабые, интуитивные, импульсивные попытки как-то соединить края разрыва — в частности, перекинуть мостик между двумя войнами. Так, многим памятен поступок Н. Поклонской на шествии «Бессмертного полка», когда рядом с фотографиями победителей фашизма она подняла портрет Николая II. Конечно, можно придираться к частностям. Можно сказать, что Николай II

странно смотрится рядом с рядовыми, лейтенантами и даже генералами. Что месседж был бы более понятен, если бы рядом оказались портреты, условно говоря, генерала Жукова и генерала Брусилова. Тем не менее главное было сделано. Н. Поклонская сломала шаблон, вытащила сбитых с толку сограждан из навеянной им исторической летаргии. Ведь многие до сих пор не могут осознать очевидный факт: Николай II вынужден был воевать с тем же самым врагом, что и Сталин, при всей громадной разнице между этими фигурами.

Вне всякого сомнения, военная тема — ключевая для понимания как русской, так и западноевропейской и американской истории XX века. Именно поэтому с особым вниманием следует подойти к дескриптивным моделям истории последнего столетия и к проблеме выбора языка исторического описания. Причём проблема эта возникает уже на этапе выбора названия.

В русской традиции за понятием «война четырнадцатого года» закрепилось три определения. Первое из них — «Вторая Отечественная». Это название отсылает к Первой отечественной войне 1812 года, когда Россия, к слову, воевала не только с Францией: Наполеон привёл с собой «двунадесять языков». Это, как и век спустя, была Объединённая Европа, но только под французским флагом. Собственно, к этой традиции и примыкает понятие «Великая отечественная», которое подчёркивает и выделяет войну 1941-1945 годов в ряду отечественных. Другое определение — «Великая война» — раскрывает иной аспект событий

1914-1918 годов. Оно подчёркивает особый характер войны как первой в истории войны за передел мира. Сам по себе этот тезис о первенстве не бесспорен и к тому же вызывает вопрос, одинаковое ли содержание вкладывают в понятие «Великая» политические круги разных стран-участниц.

Нам представляется наиболее удобным термин «Большая война» (используется, в частности, А.Фурсовым), который включал бы в себя понятие «Вторая отечественная». Удобным он представляется прежде всего потому, что вереница войн XX века, которая, взяв начало в 1914-м, продолжалась не только в 1941-1945-м, но и в 2014-м, с точки зрения судьбы России и русских является единым процессом, который связан с попыткой расчленения и отчуждения территорий, являющихся историческими территориями Русской земли и русской нации, и который всё ещё не достиг логического конца.

А. Фурсов, высказываясь в защиту термина «Большая война», подчёркивает: «Во-первых, недалеко от истины историки, полагающие, что, по сути, это была одна война — Тридцатилетняя война XX века (1914—1945 годы). Во-вторых, механизм возникновения двух главных войн Большой войны в целом был почти одинаков; понимание первого во многом прояснит второй и позволит выявить решающую роль именно британцев в разжигании мирового конфликта».

Большая война не закончилась, она продолжается. Поэтому серьёзной ошибкой было изъятие темы войны из контекста национальной истории. Ещё

одной ошибкой была бы попытка говорить о Большой войне в прошедшем времени. Примечательно, что мишенью, в которую направлены удары противника в «холодные» периоды противостояния, является то ядро русской цивилизации, которое не исчезло в жерле революции и гражданской войны и объединяет дореволюционное самосознание с самосознанием людей советского времени и упованиями народного большинства России сегодняшней, ориентированного на ценности социального государства и русской (русско-византийской) традиции. Пропагандистские инструменты «той» стороны направлены на создание дискретной, прерывистой модели национального историзма в сознании русского большинства. В частности, делается ставка на категоричное противопоставление русского и советского, на идею культурной и цивилизационной неполноценности русских (ср. рассуждения о «совке», «ордынстве», «генетическом рабстве» и т. п.), которую, к сожалению, поддерживает часть креативного класса, властных элит и либеральная постинтеллигенция. Это говорит о попытках пролонгировать гражданскую войну в «холодной» форме, но в то же время и о некотором сужении социальной базы, на которую опирается противник.

Характерно, однако, что для внутреннего употребления в западной культуре была и остаётся единая история России, так же как понятия «советский», «русский», «российский» покрываются одним словом — Russian. Несмотря на развитую тенденцию русофобии, нашу историю воспринимают как единый

процессе с единым субъектом, хотя самому русскому сознанию так называемыми «западниками» навязывалась и навязывается дискретная, фрагментированная модель историзма. Это надо понимать и всячески воспитывать в себе макроисторический, континуалистский подход к национальной истории вообще и истории XX века в частности. Для того чтобы найти для этого основания, придётся, разумеется, ставить в фокус не историю правящих групп, а историю народа, прежде всего титульной общности.

IV

Одно из известных высказываний папы римского Урбана VII гласит: «Мы любой ценой должны достичь востока». Этот вектор развития западно-христианской цивилизации, обозначаемый на протяжении ряда веков лозунгом «Drang nach Osten», принимал разные формы в разные эпохи: от крестовых походов до волн колонизации, сменившихся не менее принудительными «волнами демократизации». В чём причина этого удручающе постоянного устремления в «чуждые пределы»? Западноевропейской ментальности в целом свойственна горизонтальная динамика. Она означает территориальное и культурное расширение, экспансию и контроль, а не аскезу и сотерию. Со времён колониального капитализма это стремление стало необходимым материальным условием развития Запада. Мир-экономика подобна колесу, которое либо катится достаточно быстро, либо кренится и падает.

Экспансия — это драйвер Запада. Колониализм — не просто основа экономики, но основа идентичности западного мира. Если лозунг национального освобождения — «Patria o muerte!», то лозунг колониального капитализма — «Экспансия или смерть!». Сегодня эффективность капитала падает, колесо понемногу замедляет свой ход и уже начинает крениться на бок. Но в начале XX века оно ещё имело хороший ход.

Начало XX века — это сужение исторических возможностей для Европы. Когда мировые окраины были поделены между мировыми игроками — центрами капитала, — вновь, как и в Средние века, когда они были недоступны, встал «восточный вопрос». Один из разделов гитлеровской «Mein Kampf» так и называется: «Восточный вопрос для Германии». Отныне европейское развитие могло идти уже только в восточном направлении. А это неизбежно означало вытеснение восточных славян, включая и русских, с занимаемых ими территорий. Как утверждал впоследствии А. Гитлер, «если Европе нужны земли, их можно получить только за счёт России». Этот принцип имел как чисто прагматическое, так и экзистенциальное значение, во всяком случае, применительно к русским. Русско-византийская ветвь христианской цивилизации предполагает континуалистский, а не глобалистский принцип развития и порождает общество сотериологического типа с вертикальной («нравственность выше права»), а не горизонтальной ценностной динамикой. В конечном счёте этот путь развития в прошлые века вёл к образованию модели мир-империи

(условием её развития не является мировое господство), наряду с противостоящей ей меркантилистско-экспансионистской мир-экономикой.

Одновременное существование двух этих моделей развития немыслимо для Запада. Русско-византийский континуалистский тип сохраняет в целях своего развития прямую связь с христианской традицией, тогда как политический Запад в целях собственного «горизонтального» развития вынужден отказываться от христианских ценностей. Но тем самым он утрачивает право исторического первородства, что в дальней перспективе грозит утратой идентичности. Единственный способ не потерять это право — уничтожить саму возможность культурно-исторической альтернативы в лице «других» христиан. Отсюда единственный путь: уничтожение исторической субъектности русских путём «окончательного решения русского вопроса».

На первом этапе это стремление предполагает вытеснение русских как активного игрока из европейской политики и европейского культурного пространства, вытеснение России из средиземноморско-черноморско-каспийского региона. Этот процесс объективно ведёт к азиатизации России при внешне западнических атрибутах и «ценностях» правящего слоя, разрушению русской идентичности и расчленению России на несколько территорий и зон влияния западных держав.

Вопреки сложившимся стереотипам российской идеологии именно патриоты в России, если иметь в виду участие страны в европейских делах в собствен-

ных интересах, представляют европейский вектор развития, а либералы-западники — вектор азиатизации России и вытеснения её на восток при одновременном господстве так называемых «западных ценностей» в идеологии правящего слоя.

Одной из форм доктрины вытеснения русских на восток является концепция Междуморья Ю. Пилсудского — то есть создание антироссийской федерации или конфедерации из Польши, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии и Финляндии. Сейчас, в связи с украинскими событиями, эта идея активно претворяется в жизнь. Концепцию Междуморья дополняет другая идея Пилсудского — прометеизм, то есть идея распада России с помощью разжигания местного национализма и регионализма.

Вообще говоря, подобные планы по отношению к России имел и ряд других государств, каждое из которых приносило в него свою специфику в соответствии с собственными национальными интересами. Например, германские планы в своей антироссийской части как две капли воды похожи на планы Ю. Пилсудского. Мы легко убедимся в этом, если обратимся к переписке кайзеровского канцлера фон Бюлова, относящейся ещё к 1890 году. «Мы должны в конечном счёте отеснить Россию от обеих морей — от Балтийского и от Понта Евксинского, на которых и зиждется её положение мировой державы», — пишет фон Бюлов престарелому Отто фон Бисмарку.

Оба рейха, Второй и Третий, опирались на миф о величии «Священной Римской Империи германской нации». Поэтому немецкая версия западноевропейского экспансионизма содержала в себе идею Серединой Европы (Mitteleuropa) — объединения Центральной и Восточной Европы вокруг Германской империи, категорически исключая присутствие в нём России. Этот проект постепенно завладевал умами. Так, например, в 1891 году возникло объединение немецких интеллектуалов, военных, латифундистов и промышленников «Пангерманский союз» под председательством Э. Хассе. Союз, как бы заглядывая в будущее, издал брошюру под названием «Великая Германия и Срединная Европа в 1950 году», которая была опубликована в Берлине в 1895 году под псевдонимом «Пангерманец».

Именно концепция «Серединой Европы» и стала прообразом Европейского Союза. Правда, реализовалась идея ЕС в конце концов не в форме Третьего рейха, как предполагалось вначале, а в виде современного формата прогерманской и проатлантистской Европы.

Не кто иной, как известнейший экономист В. Зомбарт доказывал необходимость для германского народа нового «жизненного пространства», а ряд его единомышленников утверждали, что право Германии на гегемонию в Европе обеспечено именно её «серединным положением». Согласно замыслу, Mitteleuropa должна была обеспечить Германии жизненное пространство (Lebensraum) на Востоке и утвердить её гегемонию на континенте, сделав, говоря языком гео-

политики, «центром евразийского хартленда». Но для этого надо было определить тех, кому отводилась роль расходного материала данного амбициозного проекта, роль отбросов истории. А если называть вещи своими именами — роль колонизируемых.

1886 год стал годом основания так называемой Королевской Прусской комиссии по колонизации. В числе прочих свой вклад в разработку материалов этой комиссии внёс один из классиков социологии М. Вебер, опубликовавший обзор, в котором он рекомендовал собственный план колонизации «варварского Востока». Соавтором М. Вебера в этой работе выступил историк Г. Шмоллер, взявший за исходную точку своих умозаключений по части колонизации пример прусского *Drang nach Osten* и особо подчёркивавший роль программ переселения при Фридрихе Великом, которые он считал своего рода историческим образцом. Уже тогда речь шла о «границах Германии по Волге».

Перечисленных фактов достаточно, чтобы понять, что западноевропейская и, в частности, германская доктрина превосходства идеологически ковались отнюдь не при Третьем рейхе, а гораздо раньше. Принадлежность к «пруско-дворянской военной касте» и «продолжение вековой борьбы между германцами и славянами» играли здесь решающую роль. Очевидна преемственность стратегического планирования Третьего рейха от Второго рейха с момента его образования в 1871 году.

И, конечно же, Третий рейх стал закономерным воплощением идеологии колониального капитализма,

а не каким-то печальным исключением внутри эпохи модерна. Да ведь, собственно, главный «секрет» так называемого проекта Просвещения состоит как раз в том, что он неизбежно осуществляется *кем-то за счёт кого-то*.

Так в XIX веке определились контуры проекта будущей Большой войны.

В 1914-м Германия объявила войну России. Но это не означает, что реальная война началась именно в этот момент — если, конечно, мы имеем в виду войну против народа и лишь во вторую очередь против государства. Австро-германская коалиция, разумеется, начала реализацию своих планов намного раньше. Прежде, чем началась «война армий», была развязана «война народов», то есть именно та расово-идеологическая война, которая была официально объявлена Гитлером в 1941 году как «крестовый поход против иудебольшевизма». Война народов до 1914 года сводилась к геноциду православных русин (русинской ветви русского народа) на территории Галиции. Долгое время русины испытывали тяготы культурной и социальной дискриминации, им запрещали держать книги на русском языке и пользоваться русским гражданским шрифтом. Позднее перешли к террору: подавлялось и сокращалось посредством прямой резни сообщество православных русин. Формальным обоснованием политики террора со стороны австро-венгерской бюрократии была их гипотетическая нелояльность, которой, откровенно говоря, при такой политике и неоткуда было взяться. Затем последовала

организация массовых репрессий, ознаменовавшаяся созданием концлагерей Талергоф и Терезин. В общей сложности в последний период террора всё это привело к гибели четверти миллиона православных русин. Это было началом процесса русоцида, который достиг апогея после 1941 года в виде «этнической войны».

Следующим антирусским шагом в 1914 году стала провокация и объявление войны Сербии — союзнику России. Уклониться от своих обязательств Россия не могла. Кроме того, она имела серьёзную финансовую зависимость от других «союзников» (здесь слово можно смело брать в кавычки) — Англии и Франции. По отношению к ним вступление в войну с Германской коалицией было не братским долгом, а принудительной отработкой. Достаточно сказать, что значительной частью промышленной и банковской сферы России владели на тот момент англичане и французы. Поэтому начало русской катастрофы следует отнести к 1914 году. Именно тогда подчинение мировой рыночной конъюнктуре поставило страну в полную зависимость от англо-французского капитала, за интересы которого русским пришлось отдавать свои жизни (2 млн человек). Долг России составлял в то время 6,5 млрд золотых рублей; 50% промышленных активов были в руках иностранного капитала. А с учётом громадной задолженности в перспективе все русские активы должны были перейти в руки наших «партнёров» — именно так писала тогда западная пресса. За эти долги страна была втянута в катастрофу 1914 года.

V

Зависимость от «союзников» решающим образом влияла не только на действия Николая II, но на всю систему принятия решений в России. И даже, не в последнюю очередь, на дух и тональность газетных репортажей. «Союзники» контролировали в России если не всё, то почти всё. Британский историк Б. Г. Лиддел Гарт в книге «Правда о Первой мировой войне» отмечает «естественное стремление Германии к коммерческим целям и погону за мировым господством». Именно поэтому для Германии, которая, как известно, опоздала к разделу мира и стремилась наверстать упущенное своей восточной политикой, странами Антанты была предусмотрена роль антироссийского буфера, как и для России — антигерманского. Но вовремя остановить Голема редко удаётся. Вот и в этом случае дёрганье за верёвочки имело свои пределы. Тот же Б. Г. Лиддел Гарт пишет, что если бы на определённом этапе войны Германия пошла на компромиссный мир с Англией и Францией против России, она могла бы без помех осуществить свою мечту о Серединной Европе.

Тема возможного выхода России из войны многократно обсуждалась в отечественной историографии. И здесь накоплено немало интересных сведений и выводов. В частности, эта тема проливает определённый свет на механизмы февральского слома государства и неоднозначную попытку воссоздать его на новых основаниях в октябре 1917-го. Немалая часть рос-

сийских историков разделяет мнение, что «революция произошла в условиях полувыигранной войны». Не будем разбирать все аргументы за и против, отметим лишь, что до февраля ситуация для России медленно менялась в лучшую сторону, а после военная кампания пошла вразнос вместе с государственностью.

Против идеи сепаратного мира с Германией работала вся система либеральной пропаганды в предреволюционной России. Газеты рассказывали о том, что нельзя ни в коем случае отделяться от союзников, ведь от них — вся поддержка, и от кого же, как не от союзников, правды ждать. Такие фигуры, как «антантофил» А. В. Неклюдов, бывший посланник России в Швеции, охотно перечисляли все ужасы «изоляции», в которую России «никак нельзя себя загонять». Цель при этом была одна, и её диктовали английские и французские политические круги: заставить русских воевать любой ценой, воевать вопреки всему — потому что это в интересах англо-французского капитала. Например, ещё в марте 1916 года барон В. Розен, бывший посол в Японии и США, пишет Николаю II записку о выгодах заключения мира с Германией, но царь предложил ему переговорить с либеральным министром иностранных дел, англоманом С. Д. Сазоновым, который сразу же отклонил идею барона Розена.

Цель виделась в том, чтобы не дать России выйти из войны раньше времени, пока ещё мир с Германией на приемлемых условиях был возможен. Поэтому поначалу роль «голубей» играли правые и умеренно

левые, которых устраивал популярный в то время призыв президента Вильсона к миру «без победы» на основе «status quo ante bellum» — «положения, существовавшего до войны». А «ястребами» были либералы, как ни неприятно будет это услышать сегодняшним их последователям, которым данный факт ломает идеологический шаблон. После прихода на пост министра иностранных дел Б. В. Штюмера попытки примирения с Германией продолжались, но недолго. Эта политика вызвала упорное противодействие со стороны английского посла Дж. Бьюкенена. Бьюкенен и стоявшие за ним силы шли на грубое вмешательство в работу российских органов власти. Они манипулировали «карманной» думской оппозицией и использовали её для отставки Б. В. Штюмера. После его отставки внешнюю политику взяли в свои руки англоманы А. Ф. Трепов и Н. Н. Покровский. Их устами англичане требовали от России войны до победы.

Характерно, что так называемая Февральская революция произошла именно в тот момент, когда налаживание русско-немецких связей стало угрожать англо-французским планам. Здесь напрашивается применение старого римского принципа «Кому выгодно?».

В своих мемуарах, в главе «1917» Дж. Бьюкенен предпринимает массу усилий, чтобы откреститься от обвинений в соучастии в событиях февраля 1917-го. Но выходит у него это натужно и не слишком убедительно. Поверить в «невмешательство» Антанты в

российскую ситуацию довольно трудно. «Поскольку Совет разрушал армию своей социалистической пропагандой... признание Временного Правительства было, по моему мнению, необходимо», — пишет Бьюкенен. И это наводит на определённые размышления. Состояние русской армии действительно оставляло желать лучшего, но британская забота о ней вызывает лишь улыбку, а готовность сходу признать нелегитимное «правительство», лишь бы Россия продолжала воевать ради английских интересов, — уже несколько иные эмоции. «Я принимал в посольстве либеральных вождей, назначенных княгиней Палей... Они не хотели возбуждать революцию в течение войны... Когда революция произошла, то Дума старалась овладеть ею, дав ей санкцию единственного легально организованного органа в стране...».

Итак, революция — «единственный легально организованный орган»? Это только в России или таково свойство всякой революции? И кто это говорит: Бьюкенен, Ленин, Бакунин?

«Тем не менее, — продолжает убежать Бьюкенен, — многие всё ещё думают, что именно я дергал за верёвку и пустил её в ход. Даже после моего возвращения в Англию в начале 1918 года это обвинение неотступно меня преследовало и мне никогда не удавалось сбросить его с себя».

Нужны ли комментарии?

Важная закономерность заключается в том, что втягивание России в мировую войну породило гражданскую войну в самой России, которая сопровождала

лась попытками иностранной интервенции и расчленения страны. Эти события находятся приблизительно в одном временном отрезке с австро-венгерским террором против православных русскоязычных русин, с нападением на Сербию, с поддержкой противниками России февральской смуты, а затем и большевистским Октябрем. Годы гражданской войны сопровождаются немецким вторжением в Малороссию, правлением гетмана Скоропадского, действиями японского ставленника Семёнова, высадкой англичан, американцев и французов на русскую территорию, а также подписанием знаменитого Парижского соглашения о разделе сфер влияния в России. На Дону возникло подконтрольное Германии «казацкое государство», которое возглавил атаман Краснов, и была предпринята попытка создания Доно-Кавказского союза, которая в случае успеха привела бы к отделению Кавказа от России.

Иными словами, гражданская война служила продолжением мировой войны, почти в соответствии с ленинским тезисом о «превращении империалистической войны в гражданскую». Не прав был Ленин лишь в одном — в употреблении слова «превращение». Сегодня вполне очевидно, что, породив внутренний конфликт между белыми и красными, эта война, тем не менее, отнюдь не перестала быть империалистической. И поскольку она была проиграна Россией — причём де факто Россией и белой, и красной, — советское правительство вплоть до 1941 года служило объектом конкурентной борьбы английского

и немецкого влияний. К такому же выводу косвенно ведёт и логика некоторых европейских историков, настаивающих на взаимообратимости двух аспектов войны и поэтому пишущих о «европейской гражданской войне», правда, в антисоветском и антирусском идеологическом ключе.

В наше время, когда существует теория гибридных конфликтов, уже нет смысла специально останавливаться на том, как связаны внутренний и внешний аспекты военных действий. Впрочем, в среде российских историков и так преобладает точка зрения, согласно которой если бы не случилось Первой мировой войны, революция февраля-октября 1917 года просто не могла бы состояться. Насколько эта точка зрения верна — вопрос весьма непростой, и сейчас мы его касаться не будем. Но обратим внимание вот на что. Как подчёркивает, например, историк С. Шмидт, и не только он, «в западной исторической науке, в свою очередь, есть точка зрения, согласно которой размах рабочего антикапиталистического протеста в Европе к 1914 году был настолько сильным, что только мировая война помешала претворению его идей в жизнь». Одним война подарила социальный мир, другим — социальную войну.

Это общее место в западной историографии действительно многое объясняет. Первая мировая как фактор, подавляющий один революционный процесс и запускающий другой, позволяет сделать вывод о тесной системной взаимозависимости всех трёх феноменов.

В «Программе мира», представленной президентом США Конгрессу 8 января 1918 года, оптимальной моделью решения «русского вопроса» признавалось расчленение бывшей российской империи на ряд отдельных территорий и «опекунство» над ними и российскими «демократическими силами». И куда только делась высшая легитимность революционной власти по Бьюкенену? Позднее на новых картах России от Среднерусской возвышенности отсекались Белоруссия, Украина, Сибирь, Кавказ, Прибалтика и Средняя Азия...

После Февраля условия кардинально изменились: в результате смуты Россия ослабла настолько, что в перспективе вырисовывался только «похабный Брестский мир». А конкретно — «широкая программа аннексии» фельдмаршала П. фон Гинденбурга в рамках Брестского мира. Время разумных договорённостей прошло, окно возможностей закрылось. Получался «мир любой ценой», который поддерживали лишь большевики, не признававшие национальных интересов, но признававшие классовую целесообразность. Их можно за это осуждать. Но что сказать о революционерах-февралистах, которые не признавали вообще никаких принципов и готовы были во время войны разломать государство во имя элитарных «свобод»?

Октябрь заморозил Россию в формате технократического «красного проекта», который по крайней мере на 75 лет приостановил начатый Февралём распад. Общинный ресурс русского народа стал топливом этого проекта, имевшего совсем не долгий по истори-

ческим меркам срок жизни (с 1917 по 1991 год). И этот ресурс был полностью исчерпан. Речь о его восполнении, о «сбережении народа», увы, не шла. Главной внутренней проблемой СССР был разрыв с национальной традицией, а главной внешней — несмотря на новую социально-экономическую модель — привязанность к центрам глобального капитала. И два эти минуса, конечно, были взаимообусловлены, но это уже тема для другой статьи.

VI

Отдельный вопрос связан с общей британской стратегией в отношении России, которая была главным британским противником в Евразии. Встал вопрос об устранении этого препятствия, причём не только и не столько в качестве государства, сколько в качестве коллективного исторического субъекта — народа. Антирусская истерия в прессе, Крымская война — всё это очень напоминает день нынешний, вот разве что высадка в Крыму и осада Севастополя невозможны по причине наличия у России «Бастионов», «Калибров» и сил ядерного сдерживания, но самое лучшее оружие не стреляет, если на это нет политической воли.

Крымская война ещё в XIX веке провела разделительную линию, обозначив «конфликт цивилизаций». Германия была естественным образом использована Британией в качестве тарана против русских, что ни сколько не исключало формально «союзнических» отношений.

Попытки России закрепиться на Балканах и расширить выход к мировым морям, овладеть проливами и одновременно «вернуть» Константинополь потребовали ускоренного и уже окончательного решения «русского вопроса», а с ним и вопроса православного. Но наряду с русским для Англии существовал и существует «германский вопрос». Поэтому единственным устраивающим Альбион сценарием была русско-немецкая война, в которой стороны бы ослабляли и уничтожали друг друга. И трудно не признать, что эта цель была с успехом достигнута дважды, в 1914-м и в 1941-м, что само по себе приходится квалифицировать как победу Британии (а также её союзников — США и Франции) и поражение России, Австрии и Германии.

В 1914-м британская дипломатия проводит элементарный политический гамбит, загоня Германию в военно-политическую мышеловку. Кусочком сыра служит тот же «русский вопрос», но в германской версии. Англия убеждает Вильгельма II в том, что сохранит нейтралитет в случае начала военных действий. После этого Германия объявляет войну России, тут же получает аналогичное объявление от Англии и вынуждена вести тяжёлую войну на два фронта. Теперь всё идёт так, как нужно англичанам. В итоге условия капитуляции продиктованы одной стороне — петициями деятелей Февраля и солдатских комитетов, а другой — пунктами положений Версальского мира.

Так, хотя и не окончательно, был решён «русско-германский вопрос».

Казалось бы, история должна чему-то учить, но немецкие и русские политические круги учиться не хотят. Вероятно, главная причина такой необучаемости — человеконенавистнический фанатизм Третьего рейха и историческая эсхатология Советов. Как бы там ни было, перед Великой Отечественной войной ситуация в общих чертах повторяется. Англичане, французы и американцы своими уступками (сдача Чехословакии, «аншлюс» Австрии и пр.) толкают и «ведут» Гитлера на восток.

«До сих пор тиражируется суждение, что Британия полагала умиротворить Гитлера. Нет! Самое страшное для англосаксов случилось бы, если бы Германия удовлетворилась Мюнхеном и аншлюсом Австрии, которые были приняты “демократическим сообществом”, — совершенно справедливо пишет Н. Нарочницкая в сборнике «Партитура Второй мировой». Дело в том, что гитлеровские планы завоевания восточного жизненного пространства вполне вписывались в концепцию выталкивания России на северо-восток Евразии (проект Междуморья). Ремейком этих планов, к слову, является современный проект «Восточного партнёрства».

Но, скорее всего, англичане зря волновались за будущее «восточного проекта». Слишком уж эти планы вросли в коллективное бессознательное немецкой элиты. На бумаге уже давно готовились земельные наделы для германских колонистов на Востоке. При этом исповедовался принцип «территории без населения» (ср. высказывания современных киевских политиков:

«Донбасс будет украинским или бесплодным» и т. п.). На стол Гитлеру лёг «Генеральный план “Ост”» по немецкой колонизации Восточной Европы и выселению её исконных жителей. Он был приложением к плану «Барбаросса» (захват территории расходящимися ударными группировками с применением ударов танковых клиньев). Примечательно, что министр продовольствия и сельского хозяйства Германии ещё в 1936 году утверждал, что «естественная сфера обитания немецкого народа — это территория к востоку от Рейха — до Урала, к югу — до Кавказа, Каспийского моря, Чёрного моря. Мы должны освоить это пространство».

Характерно, что советская дипломатия постоянно находилась в состоянии то пробританской (Литвинов), то прогерманской (Молотов) ориентации, выступая в роли своего рода разменной монеты европейской политики между двумя войнами — так называемого «спокойного двадцатилетия», которое отнюдь не было спокойным. Пожалуй, единственным провалом британской дипломатии и крупным успехом дипломатии советской стал тот самый пакт Риббентропа-Молотова, который подвергся удивительно бессмысленной критике со стороны держав, которые гораздо раньше сами заключили с Германией соглашения о разделах. Но договор затормозил германский «натиск на восток» примерно на два года. Много это или мало? Трудно сказать. Это было не решение проблемы, а скорее передышка.

Тем не менее этот провал оказался для англичан болезненным. Именно поэтому либеральная «обще-

ственность» и её англо-американские кураторы никогда не простят русским сам факт заключения данного договора и будут бесконечно выделять его из длинного ряда аналогичных соглашений. Отсюда и демонизация самого советско-германского договора, который в действительности был совершенно оправданной мерой защиты страны и последним в ряду аналогичных европейских договоров. Да и Польша на роль жертвы явно не годится. И потому что чуть раньше сама активно участвовала в разделе, отхватив кусок Чехословакии. И по причине своих имперских амбиций и мечты о «Польше от моря до моря», которой Гитлер должен был отдать Литву и Украину (не зря же западную часть Украины и Белоруссии в Польше до сих пор называют «восточной Польшей»). И в связи с искренним желанием быть в авангарде гитлеровского похода против СССР.

Уже в начале 2000-х польский историк П. Вечоркевич публично сокрушался о том, что у Польши в 1939 году не получилось самой заключить сделку с Гитлером. Тогда бы, пишет Вечоркевич, «мы могли бы найти на стороне Рейха почти такое же место, как Италия.... В итоге мы были бы в Москве, где Адольф Гитлер вместе с Рыдз-Смиглы (польский военачальник и политик — А. Щ.) принимали бы парад победоносных польско-германских войск...».

Но, несмотря на определённые дипломатические достижения, перед началом второй фазы Большой войны (1941-1945) сложилась ситуация, когда Россия красного проекта в буквальном смысле пропустила

удар. Впрочем, не пропустить его можно было только одним способом — наступать превентивно, то есть, попросту говоря, ударить первыми. К сожалению, советская элита, погрязшая в классовых догмах и бесконечных внутренних чистках, не была способна на решительные и своевременные действия на международном уровне — несмотря на созданную многолетней индустриализацией мощную военно-промышленную базу.

Это тем более удивительно, что об утверждении Гитлером плана «Барбаросса» было известно ещё в 1940 году. Известно было и то, что руководителю СС Г. Гимmlеру были даны полномочия по реализации «особых задач фюрера», вытекающие из «окончательной борьбы двух взаимоисключающих политических систем». Эти полномочия позволили в будущем осуществить геноцид русского, белорусского и еврейского населения.

Более того, в марте 1941 года СССР подписал договор о дружбе и взаимопомощи с Югославией, которая чуть позже была оккупирована Германией. Это давало России все юридические основания для вмешательства. Но своего союзника мы не защитили, в отличие от ситуации 1914 года, когда агрессия против Сербии получила ответ со стороны России. Между тем как раз в это время значительная часть немецких дивизий на Балканах представляла собой прекрасную мишень для удара с тыла. При любом развитии событий точно не было бы катастрофы, аналогичной катастрофе первых месяцев войны. С точки зрения

ряда экспертов, это была упущенная историческая возможность.

Так, по мнению А. Храмчихина («Как мы опоздали на ледокол»), «война бы закончилась примерно так же, как и в реальности, только значительно раньше и с несравненно меньшими жертвами. Наши потери составили бы не 27 миллионов, а вряд ли больше двух миллионов человек (это были бы почти исключительно потери вооруженных сил). Материальный ущерб, понесённый нашей страной, естественно, был бы на несколько порядков ниже, чем оказался в реальности... Он (Гитлер — А. Щ.) по факту агрессор, а мы жертва, от этого факта никуда не деться, соответственно, невозможно и “отнять у нас Победу” — ни юридически, ни морально. Однако, повторю, вопрос можно вообще поставить иначе — а не совершил ли Сталин преступление, не ударив первым?».

С точки зрения Британии, Германия в случае успеха плана «Барбаросса» должна была вытеснить СССР за Волгу, завладеть кавказской нефтью, как раньше завладела румынской, — и тем самым остановить русскую авиацию и танки, которые было бы нечем заправлять. Позволю себе сослаться на Н. Нарочницкую, которая даёт весьма точный рисунок реализации англо-американского плана.

«Германия, — пишет она, — быстро истощая силы совершенно неготовой и обескровленной репрессиями советской армии, оттесняла бы СССР за Волгу и Урал, с Кавказа с его нефтью и от Чёрного моря. Наверное, следуя канонам своей многовековой геополити-

тики, Британия постаралась бы запереть проливы со стороны Средиземного моря, а со стороны Балтики и Северного моря помогла бы Польше. Заманив Гитлера как можно дальше на советскую территорию своим начальным бездействием и не пошевелив пальцем, чтобы помочь русским, пока тех не отодвинут далеко на восток, англосаксы, конечно, не позволили бы Германии стать хозяином Евразии. Но они били бы Гитлера с запада на российской территории, одновременно отгесняя Россию навеки из Восточной Европы, от Балтики и Чёрного моря. Британия и США воспользовались бы положением России, чтобы навсегда отодвинуть её от морей в глубь континента. При таком исходе СССР, использованный как главная жертвенная материальная сила, о которую споткнулся бы Гитлер, остался бы в тундре, что означало конец его истории» («Концерт великих держав» накануне решающих событий»).

Дальше произошло бы именно то, что было намечено в 1918-1919 годы, но не осуществилось по настоящему, — расчленение территории исторической Руси. К слову, точно так же расчленили по итогам Первой мировой Австро-Венгрию.

VII

Новой фазой Большой войны стала холодная война, в которой красная, советская Россия добровольно (а не вынужденно, как любят доказывать пропагандисты) капитулировала. Что, разумеется, дало мощ-

ную подпитку радикализации и фашизации западного политического проекта.

Один из немецких общественных деятелей сказал: «40-я годовщина капитуляции пришла на 40 лет раньше времени». Сказано это было в 1985 году, но автор не подозревал, насколько актуальнее его фраза будет звучать через 30 лет. Если в 1970-80-е считалось, что нацизм ушёл в прошлое, а коммунизм процветает, то сегодня ситуация ровно обратная. Сползание неоллиберализма к открытым формам неонацизма можно считать свершившимся фактом.

Во многом моральный шок от реабилитации нацизма в начале XXI века объясняется влиянием усыпляющего мифа о «денацификации» Германии и Европы в целом. После нацистского майдана в Киеве и снесённых с лица земли городов Донбасса мы видим, что это далеко не так. Точно так же мы наблюдаем нацистскую пропитку всей идеологии и психологии либерального слоя. Но уже слишком поздно бить в колокола.

А ведь реабилитация нацизма под видом «нормализации немецкой истории» началась ещё в 1980-е, в ходе так называемого «спора историков». И локомотивом процесса можно считать историка Э. Нольте и его школу, а одним из манифестов движения — книгу «Европейская гражданская война». В трудах этих учёных проводится пересмотр немецкой идеологии начала XX века. В это время, по признанию самого Э. Нольте, идеология пангерманизма приобрела следующий вид. Английский народ-властелин и союзные с ним в

будущем немцы якобы имеют «расовую» природную предопределённость властвовать в Европе и Азии. Из этого тезиса выводилось право перейти на Востоке к «земельной политике будущего», которая должна означать конец русского государства, поскольку после гибели большевиков — этих «замаранных кровью подонков» — там не останется руководящих слоёв, способных удержать государство от распада.

В таком духе Э. Нольте комментирует содержание второго тома гитлеровской «Майн Кампф», которая, по его мнению, отмечена лишь «преувеличенным европеизмом». Политику коммунистической элиты он называет не просто преступной, но «преступлением, единственным в своём роде» и, в некотором противоречии с предыдущим определением, — «азиатским преступлением». Вторя ему, А. Хильгрубер в статье «Двойной закат. Крах германского рейха и конец европейского еврейства» (1982) приравнивает поражение Третьего рейха к «поражению Европы».

Основой концепции Нольте являются несколько элементарных тезисов. Во-первых, о том, что советский режим («иудеобольшевизм» в авторской терминологии) имел «азиатский характер». Во-вторых, что именно коммунисты, раскачивая социальное здание Европы, якобы начали «европейскую гражданскую войну», а гитлеровский «бросок на восток» был лишь ответом на эту агрессию. Причём в какой-то момент рассуждения Нольте выходят за рамки исходной парадигмы и гражданская война превращается в войну высокого европейского духа с «азиатщиной».

Интересно сравнить этот переход от идеи гражданской войны к идее войны империалистической с зеркальным ленинским положением о «превращении империалистической войны в гражданскую». Вполне очевидно, что два эти тезиса взаимообратимы. Мнение Нольте, антикоммуниста с фашистскими взглядами, в своей основе не противоречит ленинскому: не бывает гражданской войны без внешней агрессии и наоборот. Нольте лишь по-другому расставляет знаки.

Главный вопрос для большинства историков заключается в том, кто и когда начал эту войну. Для начала отметим, что ещё в 1913 году начальник германского генерального штаба Г. Мольтке-младший обосновывал идею «неизбежной борьбы высшей германской расы против славянства» и уже говорил о «всеевропейской войне», хотя до революции в России оставалось четыре года. Значит, дело было всё-таки не в большевизме. Но стоит взглянуть на вопрос с несколько иной стороны — в этом случае узкое понимание «гражданской войны» и «мировых войн» для ответа на него не годится. Так же как не годится для этого и линейное представление об истоках Большой войны в духе антиколониалистского восстания (в левой версии) или «войны цивилизаций» (неонацистская версия Нольте).

Передел мира, начавшийся в XX веке, подразумевал некую тотальность. По существу западными элитами был поставлен вопрос о разрушении государств, чья философия и модель развития противоречили модели капиталистической мир-экономики, а именно

России, Германии, Австро-Венгрии, Османской империи. Он включал в себя и вопрос о недопущении формирования русско-германского союза и русско-германского евразийского хартленда. При этом использовалась готовность Германии колонизировать «восточные территории» и решать проблему жизненного пространства. Это высший этаж исторических истоков и закономерностей Большой войны.

Но тот же Нольте предпочитает смотреть на события в основном с немецкой точки зрения: «Гитлер и его партия... оказались лишь новым проявлением того древнегерманского стремления к мировому господству, которое ещё до 1914 года соединилось с представлениями социального дарвинизма о неумолимой борьбе биологических сил...». И в некотором смысле с ним трудно не согласиться: то, что сказано, тоже правда, просто не вся правда. Ведь, как известно, и Й. Геббельс в своей знаменитой речи «Ленин и Гитлер» провозгласил «идею общего фронта всех европейских государств против разрушения цивилизации на Востоке». Просчёт Геббельса и Нольте заключался в том, что Германия также была отнесена атлантистами к антицивилизационным феноменам и обречена на историческое заклятие. Но вначале Германия должна была выполнить роль антисоветского и антирусского военно-политического тарана, как сейчас его выполняет Украина, также принесённая в жертву «великой» американо-англосаксонской идее «окончательного решения русского вопроса». Причём не в одиночку, а как центр мобилизации европейских русофобских сил.

Нольте пишет: «Захват власти НСДАП — акт гражданский и победа государства и самой многочисленной партии над левой партией европейской гражданской войны в Германии». Но правда в том, что «общевропейская гражданская война», а для нас, русских, — Большая война XX века, берёт истоки в глубине европейской истории Нового времени, в мальтузианстве, кальвинизме, просветительском позитивизме и колониализме. Ведь нацизм не просто актер Второй мировой. Он — новый идеологический продукт тех, кто «исправляет человеческую породу» и несёт «бремя белого человека». Именно здесь — начало войны.

Это для России коммунизм стал неким опытом социального проектирования, в чём-то интересным, а в чём-то трагическим. Для Запада он явился лишь радикальной формой деколонизации части мировой периферии. Война началась с высадки вооружённых португальцев, испанцев и англичан на окраинах мира. Поэтому не нацизм стал «реакцией» и «ответом» на коммунизм, как утверждает Нольте. Напротив, коммунизм в общемировом смысле стал ответом и реакцией на колониальный капитализм, то есть на ведущуюся из века в век расовую и идеологическую войну Запада против остального мира, за насаждение так называемых «западных ценностей». Этот символ веры не имеет ничего общего с христианской традицией.

Революция действительно подтолкнула процесс освобождения народов. Это была антимодернистская реакция, восстание против денежно-олигархической

диктатуры. На первый взгляд — основанное на догмах коммунизма. На самом деле — на ценностях традиции и традиционной справедливости. Потому-то Талергоф и Терезин оказались прологом к этнической войне с православными русскими, хранителями как обширных территорий, так и «территории» христианской традиции. Потому-то агрессором выступила Германия, исполнителем — большая часть Европы, а заказчиками и реальными бенефициарами — Британия и США.

По советской России (ключевое слово здесь именно «Россия») был нанесён удар не только Германией, но и всей прогерманской Европой — всего более 20 стран-участниц. Этот феномен можно сравнить с коалицией времён Крымской войны. Тем не менее вопрос о денацификации Запада в целом, а не одной лишь Германии, до сих пор не поставлен.

VIII

В постсоветский период новой заметной вехой процесса оказалось уничтожение Югославии, которое исторически явно «рифмуется» с агрессией против Сербии в 1914-м и в 1941-м. Вот только ельцинская Россия не могла и не желала прийти сербам на помощь, хотя пребывание «не у дел» отнюдь не гарантировало спокойствия самой России.

Как пишет А. Фурсов, «войну в Югославии середины 1990-х годов писатель О. Маркеев назвал “модельной” — в том смысле, что в ней обкатывались определённые модели действий в чрезвычай-

ных ситуациях, будущих возможных действий против полиэтнической и поликонфессиональной (как и Югославия) России, шла вербовка и ликвидация чужих, закладывались развед- и спецсети для будущих операций».

Великая Отечественная война стала продолжением войны 1914 года, а продолжением Великой Отечественной стала холодная война, полуоккупация России в 1990-е и не очень успешные попытки переиграть итоги предыдущего этапа в 2014-м, когда на повестке дня оказался вопрос выживания русских и «советских» как исторического субъекта.

Парадоксальным образом именно продолжение Первой и Второй мировых войн в 2014-м подтолкнуло процесс формирования русской нации. Война продолжается, она не окончена. Россия сегодня, как и в 1917 году, не в состоянии эффективно отвечать на внешние вызовы из-за действий компрадорских элит. Всё сильно напоминает ситуацию, сложившуюся 100 лет назад, но с одним существенным отличием. Сегодня в России есть раскол между элитами и народом, но нет раскола внутри самого народа. Противостояние белых и красных в обществе было преодолено благодаря наличию общих вызовов и общего врага.

Эксперты и публицисты нередко связывают начало национального периода с «Крымским консенсусом», имея в виду прояснившееся соотношение политических сил в российском обществе после освобождения Крыма: 85% против 15%. Действительно, на фоне этого многие политические различия и особен-

ности разных партий и движений перестали играть существенную роль. Поляризация общества обобщила социально-политическую ситуацию и выявила реальное соотношение сил.

Большая война с нацизмом, от Талергофа до восстания в Новороссии, длится уже более 100 лет. В ходе этой войны русский народ решено было дробить и уничтожать по частям. Поскольку корневая система нацизма, связанная не только с пангерманизмом, но и с идеологиями европейского модерна в целом, не была уничтожена в XX веке, нацизм в 2014 году принял открытую форму в виде уничтожения русских на Украине¹. Следующая операция в этой войне будет развёрнута нашими «партнёрами» (как их всё ещё принято называть в российских официальных кругах) уже на территории России, и к этому надо быть готовыми. Вопрос будет стоять о выживании русских как нации, как исторического субъекта.

Евгений Белжеларский

¹ Расово-идеологическую войну против своего народа в XX — начале XXI века русские интеллектуалы называют в национальном духе — «плахой» (синоним «русской катастрофы»). См. сборник «Плаха», вышедший в свет в 2016 году.

Чужая речь

*...Спустилась ночь, а варвары не прибыли.
А с государственных границ нам донесли,
что их и вовсе нет уже в природе.
И что же делать нам теперь без варваров?
Ведь это был бы хоть какой-то выход.*

Константинос Кавафис,
«В ожидании варваров»

Сегодня либеральная дискурсивная среда играет роль своеобразной «прошивки» жизненного мира современного человека. Освобождение от её влияния даётся нелегко, правда, такая игра стоит свеч. Выработка дистанции по отношению к либеральным нарративам, их лексике, идиоматике, синтаксису даёт неповторимый опыт встречи с иной языковой реальностью и развивает вкус к независимому мышлению. Поэтому роль исследований либерального языка, как когда-то языка советской культуры, трудно переоценить.

Философ и политтехнолог — каждый по-своему — понимают всю условность языковых конвенций, осмысливая их в рамках собственной эпистемологии или используя для политических проектов. Но

простой обыватель находится в куда более слабой позиции. Для ориентации в пространстве либерального дискурса он вынужден принимать предложенные правила игры, а не анализировать природу этих правил. Этот человек как никто другой зависит от доксы — того, что называют очевидностью, идиомами повседневности, шаблонами вербального и невербального поведения. Выпадение из этих рамок угрожает ему кризисом самоидентичности. Иными словами, индивидуум находится в абсолютной зависимости от языка, который использует его окружение.

Поэтому для многих, причём независимо от их политических взглядов, мыслить и вести себя «нелиберально» — очень непростая задача. Особенно в условиях публичности. Например, умный человек не станет говорить в либеральном кругу о том, как США и Канада укрывали нацистских преступников, о применении зарядов с обеднённым ураном при обстрелах Белграда, о неудачной попытке либерального переворота в Турции в 2016 году, о социальном конструировании концепта автономной личности и тому подобных вещах. Это «не принято» («в эту сторону думать не надо»). Попытка поднять такие темы приводит к репутационным потерям и понижению социального статуса говорящего либо к необходимости публично каяться в сказанном. Срабатывает глубоко укоренившийся рефлекс: «Нельзя!». Как любят выражаться некоторые блогеры, «в голове загорается красная лампочка».

Конечно, это можно объяснить характерной для либерального социума дискриминацией, идеологическими

запретами, особым характером дисциплинарной власти в условиях либерализма и вообще нравами «либеральной жандармерии» (говоря словами В. Розанова). И это будет правда. Но это не вся правда. Дело не только в социальном инстинкте самосохранения, но и в логической технике данного типа мышления. Есть такие вопросы, которые накатанные схемы и ограничения либерального дискурса даже не дают как следует поставить, не то что решать, а тем более артикулировать.

Например, в либеральной системе понятий крайне сложно на должном уровне отрефлексировать проблематику тоталитарности. Важно обратить внимание на то, что само изучение тоталитаризма («тоталитарного опыта человечества», «режимов XX века» и т. п.) сегодня жёстко вменяется в обязанность. Изучение тоталитарности становится тоталитарным, и уже появилось поколение, которое свой первый опыт встречи с этим явлением, с его репрессивными практиками, получило именно в виде принуждения к догматике, связанной с темой тоталитарности. Здесь можно говорить и о трудностях с определением «тоталитарности», и о табуировании поиска исторических корней этого явления, и об обращённых формах тоталитарности в виде избирательной «правозащитной» деятельности. Но для такого уровня рефлексии необходим выход за границы либерального дискурса, что удаётся не всем и не часто².

Как правило, в подходе к теме опускается тот факт, что все формы тоталитаризма в XX веке так

² См.: Щипков А. В. Три тоталитаризма // Москва. 2013. № 11. С. 173-183.

или иначе оказались производными от разных форм идеологии модерна, наиболее влиятельные из которых — именно либерализм и протолиберализм (колониализм). «Антитоталитарный» субдискурс сегодня сам генерирует тоталитарные схемы мышления с беспрецедентной интенсивностью. Например, он производит и поддерживает концепцию коллективной исторической вины, и это, вне всякого сомнения, гегемонистская тоталитарная стратегия.

Ярким примером такой стратегии можно считать публичную деятельность С. Алексиевич — автора книги «У войны не женское лицо», нобелевского лауреата, уроженки Западной Украины и белорусской писательницы, пишущей на русском языке совсем не о белорусских проблемах. Алексиевич утверждает, что невовлечённая позиция по отношению к феномену тоталитарности («Я родился позже, к чему меня всё это обязывает?») морально ничтожна, поскольку «жертвы так же противны, как и палачи» и якобы существует опасность «повторения ГУЛАГа». Это начало отстройки мифа о коллективной вине. Следующий шаг — перенос обвинения с конкретных участников на «невовлечённых», то есть на народ, с которого, в отличие от реальных виновников, можно спрашивать и спрашивать бесконечно, попутно выдвигая некие ультимативные требования идеологического свойства. По идентичной схеме строится идеологическая формула украинских ультраправых: «Кто не скачет, тот москаль!». Причём совершенно не важно, кто этот «тот» (и «москаль» ли он), важен сам принцип.

В общем, тема тирании и политических прав давно, как говорят философы, «закрутилась на себя улиткой». По аналогии с известным афоризмом по поводу борьбы за мир вполне можно сказать: будет такая защита прав, что нельзя будет и вздохнуть без разрешения. Но эта мысль с огромным трудом тематизируется средствами либеральной лексики и фразеологии и совершенно не поддерживается либеральной общественной повесткой. На такое же пребывание вне критики обречён основной онтологический аргумент либерализма — идея особых прав «цивилизованного общества» над миром «варварства», якобы не живущего по «демократическим стандартам».

При этом либеральный дискурс успешно присваивает чужие стратегии, в том числе и критику либерализма, порождая имитацию критичности в собственном внутреннем пространстве (пессимистический либерализм И. Берлина, «незавершённый модерн» Ю. Хабермаса и др.).

Почему так обстоит дело? Почему множество значимых содержаний не просто замалчивается, но даже технически не воспроизводится, не тематизируется в рамках либерального интеллектуального поля?

Начнём с того, что современный либерализм — не просто политическая доктрина или учение, как это было в XVIII-XX веках. Политико-идеологическая сторона либерализма составляет сегодня периферийный уровень его семантики. Его системная доминанта — это жёстко заданные критерии субъектности и социальности, и эти критерии человек вынужден при-

нимать ещё до того, как он начинает задумываться о политике или вопросах культуры. Этот «акт принятия», индоктринация происходит до того, как у индивида появляется возможность сколько-нибудь свободного выбора и критической оценки. Основы либеральной модели мира закладываются в сознание *до* и *вне* всякой критической деятельности.

Разумеется, этот факт не осознаётся обладателем либеральной идентичности. Его зависимость от *lingua liberalis*, «либерлингвы», не позволяет ему наблюдать границы этого явления, осознать его тотальность и в то же время его ограниченность, искусственность, почувствовав за всем этим процесс глубокой и необратимой дегуманизации и деградации либерального общества. И это отнюдь не только вопрос идеологии, политической ангажированности или «формирования мировоззрения». Дело вообще не столько в том, *что* человек думает, сколько в том, *как*, каким «способом» он это делает, как организован процесс мышления. А организован он по законам либерального языка, с помощью которого формируется вполне узнаваемый «дискурс». Поскольку личность и субъективность есть продукт языка, власть этого дискурса прослеживается в моделях поведения независимо от личностной саморефлексии и никогда не отвергается в ходе рационального выбора, то есть осуществляется на дословном уровне. Именно поэтому концепт «свободы выбора» имеет высокий статус в либеральной культуре и всегда преподносится как якобы естественная точка сборки так называемой автономной личности.

Либерализм порождает несравненно более эффективные механизмы социального принуждения и более высокий уровень тоталитарности, более изощрённую её форму, нежели «старорежимная» тоталитарность с прозрачным и монолитным идеологическим содержанием, которая служила и служит мишенью для критики со стороны самого либерализма. Это принципиальное различие вытекает из соотношения двух типов власти, монументальной и дисциплинарной (в рамках терминологии М. Фуко).

Таким образом, современный либерализм — предмет уже не только и не столько социологический и политико-идеологический, как было до начала 1990-х годов. Сегодня это предмет культурологического и антропологического изучения и, в частности, философско-лингвистического анализа.

Сегодня либеральная элита не в состоянии прежними средствами поддерживать важный для неё порядок дискурса, поэтому в ход всё чаще идут грубые инструменты: от фальсификаций на выборах (манипуляции с бюллетенями в США) до возрождения милитаризма и ультраправой идеологии (арабская весна, украинский майдан и т. п.). Но эффективность даже таких мер постоянно падает, яркий пример — провал военного переворота турецких либералов в 2016 году.

Отказ либерализма от собственных базовых принципов во имя сохранения гегемонии уже виден невооружённым глазом. Порядок дискурса, в жертву которому приносится всё и ещё немного, уже начинает подрывать западные общественные институты —

например, американский институт президентства в связи с нежеланием части элит признать права Д. Трампа на отправление предписанных ему конституцией властных функций. Элиты с религиозным пылом готовы предпринимать всё что угодно для спасения своего символа веры.

В этих условиях общество особенно нуждается в оценке и глубоком анализе культурно-языковой ситуации, в которой оно находится и из которой ему рано или поздно предстоит выйти. Общество уже начинает испытывать отчуждение и выстраивать психологическую дистанцию по отношению к либеральной культуре. И эта дистанция заполняется новым содержанием.

В России такое содержание появилось в результате «крымского консенсуса» и вообще событий 2014 года. После них стало понятно, что либеральный дискурс — это инструмент войны с национальной идентичностью и традицией.

Аналогичным образом на Западе развивается «дискурс подозрения» (Т. Адорно) по отношению к либеральной дискурсивной среде. Общество осознаёт ответственность либерализма за экспансионистскую и милитаристскую политику правящих элит, за навязывание стандартов мультикультурности, политкорректности и одновременно за реабилитацию неонацизма, за двойные стандарты и разрушение социальных и правовых институтов западного общества. Отсюда возникает устойчивое желание как можно меньше использовать субдискурсы либерального языка, в частности имеющие отношение к финансистам и брюссельской

бюрократии. Точно так же когда-то в СССР многие испытывали желание перестать использовать лексику коммунистического новояза и партийного официоза.

Таким образом, либеральный язык уже сегодня воспринимается консервативно-демократическим большинством как нечто специфическое и неестественное, а в ближайшее время будет восприниматься как «чужая речь», не способная адекватно структурировать социальную реальность.

О происходящих глубоких переменах свидетельствует прежде всего сам факт перехода либерального языка из разряда «высказывания» в разряд «высказываемого», превращение из средства (по поводу которого не принято рефлексировать) — в предмет рефлексии. Именно пересечение этой границы, превращающей «высказывание» в «высказываемое», даёт говорящему опыт встречи с реальностью, находящейся за границами языка, в плену которого он ещё пребывает. Но освобождение из плена произойдёт уже довольно скоро. Использование либерального языка становится бессмысленным уже сейчас. В ближайшее время его дескриптивные и коммуникативные возможности будут падать, его позитивистская онтология уступит место новой — универсалистской.

И поскольку мы являемся современниками и носителями либерального дискурса в эпоху его упадка, перед нами открывается уникальная возможность изучать этот дискурс одновременно с позиций внутри- и вненаходимости, то есть с позиций носителя языка и внешнего наблюдателя, располагая точку обзора по

границам интересующего нас явления. Таким образом, мы осваиваем язык глобального либерализма, который утрачивает общезначимый статус и которому наша речь уже в полной мере не принадлежит.

В настоящее время мы всё ещё вынуждены говорить о либерализме как о метадискурсе, присваивающем, санкционирующем, встраивающем в себя либо конструирующем другие дискурсы в пространстве культуры. Вне либердискурса в современном обществе невозможна эффективная Я-концепция: с этим, в частности, связан диктат либерализма в социогуманитарной сфере, находящейся за пределами чистой экономики и чистой политики.

Тотальность либерального дискурса превосходит влияние советского классового подхода, который при необходимости легко вычленялся из общей структуры общественно значимых нарративов. Сегодня же демаркационные линии между живым социальным опытом, социогуманитарными науками и либеральным дискурсом полностью утрачены. Поздний либерализм враждебен любым культурным традициям и ценностям.

Авторитарность и дегуманизация либеральной модели общества высоки. По всей видимости, суд над либеральной «этикой» должен стать закономерным продолжением коллапса властных практик либерализма — хотя бы потому, что сама либеральная мысль в своё время настойчиво отстаивала проект суда над

коммунизмом, создав тем самым соответствующий исторический прецедент.

Но всему этому неизбежно предшествует кропотливая работа с языком. Поэтому наша задача — наметить некоторые направления будущего анализа, выделив наиболее важные сегменты либерального «большого дискурса» и обозначив основные категории современной либеральной культуры.

Генезис

Образ мира и человека, «вшитый» в либеральный язык, имеет несколько источников: позитивизм (вера в возможность рационального объяснения вещей как бы «из них самих»), кальвинизм (миф избранности и превосходства), мальтузианство (миф о пользе естественного отбора в человеческом обществе) и гностицизм (миф о тайном знании узкого круга жрецов, экспертов, «технократов» и т. п.).

В качестве идеологического основания этой системы следует выделить кальвинистский пафос «орудия бога» и понятие «Manifest Destiny» («Предопределение Судьбы»)³. Отсюда вытекает «право на экспансию» и на руководство «варварами», как в далёких землях, так и внутри общества: между внешней и внутренней колонизацией нет принципиальных этических различий.

³ Данный термин впервые использован демократом Джоном О'Салливаном в 1845 году в статье «Аннексия» с намёком на то, что Соединённые Штаты Америки должны простираться от Атлантического до Тихого океана.

Языковые игры

Жёсткие сценарии поведения формируются посредством языковых игр, выполняющих важную роль в функционировании либерального дискурса. Например, языковые инструменты способствуют приучению к моральному релятивизму.

Простой пример. Единственным американским официальным лицом, кто извинился за бомбардировки Сербии 1990-х годов, был Д. Трамп. Но по законам перевёрнутой логики современного либерализма именно за это Трампа в очередной раз назвали «фашистом».

Так, в форме причудливой языковой игры реализуется концепт абсолютного зла и проявляется репрессивный характер смыслопорождающих механизмов либерального дискурса. Как здесь не вспомнить Оруэлла, предложившего в своё время название «ангсоц» для языка новейшей диктатуры: «Правда — это ложь. Свобода — это рабство. Мир — это война. Незнание — сила».

Рукопожатность

Это один из важных институтов либерального социума, причём не только в России (ср. понятие «deplorable» — «деплоранты», «содержимое корзины для бумаг» — в предвыборной риторике Х. Клинтон).

В России институт рукопожатности сформировался в результате отрыва его сторонников от исконной

исторической почвы — антисоветского диссидентского движения. Если в период политических преследований эта форма поведения обеспечивала конспирацию, то в новом, постсоветском контексте она превратилась в инструмент господства одной из привилегированных социальных групп — либерально-западнической интеллигенции (позже «креативного класса»), которая выполняет в России роль колониальной администрации.

На более глубоком, символическом уровне современная «рукопожатность» означает страх нечистоты и осквернения. Эта семантика сопровождает снижение когнитивного статуса «рукопожатных» до первобытного состояния сознания, неомагизма, в рамках которого некая изначальная «магическая сила» ещё не превратилась в развитую систему моральных норм и регулятивов, характерную для традиционных религий. Осуждение и вообще «суд» заменяется в этом случае проклятием. «Рукопожатность» восходит к архаичному ритуалу изгнания из племени. Регресс и структурное упрощение культурных моделей, «новая дикость» и архаизация общества в принципе характерны для периода позднего либерализма.

Выключение из дискурса

Либеральный дискурс создаёт метанарративную схему, отступление от которой (нарушение табу) выключает субъекта из коммуникации. Реакцией либеральной среды на такое отступление обычно становятся не рациональные аргументы, а сигнал к выключению.

чению из дискурса. Например: «А ещё у них негров линчуют». Или, более мягко: «Не всё так просто». И то и другое — сигналы разрыва дискурса собеседника, после которых можно говорить уже что угодно, не обращая внимания на сказанное ранее.

Правда, вариант «полувыключения» («Не всё так просто») имеет свои минусы — он позволяет собеседнику использовать эту же модальность и начать ответ, например, со слов: «На самом деле всё ещё сложнее...». Поэтому полное выключение предпочтительнее.

Смысл такого выключения состоит в том, чтобы подчеркнуть: данная тема «нерукопожатна», находится вне общепринятого контекста, это табу. И потому не требуется рационального ответа, соблюдения норм вежливости и уважения к собеседнику. В сущности, табуируется в этом случае не только само высказывание, но и его автор.

Если в рамках «старорежимного» тоталитарного языка нежелательное суждение получало идеологический ярлык, то в рамках «дисциплинарного» либерального языка преобладают именно слова-сигналы. Эти слова рассекают пространство коммуникации, воспроизводя модель разделённого общества, границы между культурой и не-культурой.

В России носители либерального языка нередко сами себя характеризуют как «приличных людей», что может быть интерпретировано как манифестация непреодолимого социального разделения. Вообще либеральный дискурс имплицитно содержит в себе расистскую матрицу, то есть модель разделённого мира, состоящего из «циви-

лизованной» и «нецивилизованной» частей, которые связаны отношениями подчинения. Эта модель исторически характерна для колониализма.

В процессе речи эту ситуацию воспроизводят словные элементы дискурса (фразы-шифтеры), а тот, кто ими пользуется, демонстрирует *обдуманно* иррациональную реакцию.

Стыд. Трансформация понятия

Важнейшим для либерального языка является понятие «стыда». Но смысл этого понятия в парадигме либеральной культуры полностью противоположен тому, который существует в исторической традиции.

Традиционно стыд является следствием греха, промаха или ошибки (грех в древнегреческом и означает «промах») и проявляется в отношениях человека с Богом. В либеральной парадигме «стыд» — форма обличения другого человека⁴. Носителю либерального сознания чаще всего бывает стыдно не за себя и не за единомышленников, а именно за чужих. «Мне стыдно за эту страну», «мне стыдно за сегодняшнюю Америку» говорят тогда, когда осуждают оппонентов, которые «испортили» общую территорию и бросают псам общую святыню.

Можно сказать, что наблюдается некая форма трансфера в отношении понятия стыда: условный «я» стыжусь *за тех, кому должно* быть стыдно. Такой

⁴ См.: Щипков А. В. Стыдно мне за други своя // Территория Церкви. — М.: Индрик, 2012. — С. 161-164.

стыд вполне инструментален. Он часто направлен на враждебные либерализму «нерыночные» ценности и концепты вроде социальной справедливости, патриотизма или реальной демократии. Для них либеральный язык использует свой набор понятий-стикеров. Например: «популизм», «имперская ностальгия», «тоталитаризм», «ксенофобия», «патриотический угар».

Ритуальная стыдливость подчёркивает коммуникативный провал в контакте с оппонентом, но на деле является эвфемизмом, скрытым признанием социальной чуждости («пенсионеры не вписались в рынок — пусть вымирают естественным образом»). Но глубокий социальный разрыв активно вытесняется мифом об «общегражданских ценностях» и «гражданском обществе».

В качестве кодовых понятий, скрепляющих это общество-в-обществе, используется набор идиом: «выйти на площадь», «сервильность», «кровавый режим», «какой позор!» (иногда в знак солидарности с киевским майданом используется украинское — «Ганьба!»).

Стремление одновременно осудить, заклеить и переубедить ведёт к тому, что либерал проповедует стыд за других. Это степень ханжества, до которой далеко даже самым замшелым консерваторам и «футлярным людям». Но пафосное менторство и одновременно театральность этого субдискурса, усиливая друг друга, порождают смеховой эффект. Поэтому либеральный морализм нередко отзывается бурлеском, являя миру смесь клоунады и моралите, как если бы клоун читал проповедь с амвона.

Но это ещё не всё. Помимо идеологической функции феномен либерального стыда выполняет также кодовую функцию, превращаясь в пароль для узкого круга. «Своих» опознают как раз по специфическому чувству стыда. Как пишет один блогер, либеральное сообщество «создаёт эмоциональный канал для коммуникации или проверяет этот канал, проверяет качество связи. — Алло, вы здесь? Вы меня слышите? Вам больно, стыдно и страшно? — Алло, приём! Да, нам больно, стыдно и страшно! Вы не одни!».

Остальным предлагается либо поддерживать такой порядок коммуникации, либо выпасть за границы круга «активной части общества, которая делает свой выбор». Последняя идиома — эвфемизм, маскирующий подлинный статус социального меньшинства, которое требует себе привилегий за счёт большинства.

Иррационализм

Иррационализм — общая черта, которую часто можно встретить, анализируя построение ключевых фраз либерал-дискурса. Классический случай — когда на базовом уровне рассуждения принимаются две взаимоисключающие предпосылки. Например, «плюрализм» и «общечеловеческие ценности» одновременно. С точки зрения логики очевидно, что либо нет таких единых ценностей, либо плюрализм невозможен⁵.

⁵ Ср. пример из современного фольклора: «По поводу плюрализма двух мнений быть не может».

Типичный пример: «Давно пора жить и принимать решения как в цивилизованных странах». Но при ссылке на Америку в вопросе об опыте гибридных войн следует ответ: «США меня не волнуют, это не моя страна».

Другой пример. После вступления в президентскую должность Д. Трампа американскими демократами было проведено множество антитрамповских демонстраций. На одной из таких демонстраций шли феминистки с плакатами. И эти плакаты одновременно призывали к женскому равноправию и к разрешению мусульманским женщинам публично носить хиджаб.

О высоком содержании логических противоречий в составе либерального языка говорят такие парадоксальные определения, как «гуманитарные бомбардировки», «позитивная дискриминация», «принуждение к миру».

Все эти примеры свидетельствуют отнюдь не об интеллектуальном бессилии хозяев дискурса. Напротив, они говорят о стремлении вывести культурно-языковую парадигму либерализма из состояния кризиса через глубокую трансформацию, заменив «высокий» философский рационализм, доставшийся ей от эпохи Просвещения, на иррациональные конструкции, но сохранить стилистическую оболочку дискурса, то есть рационалистическую и наукообразную лексику и манеру изложения.

С точки зрения лингвистики в этом случае метонимическая функция научного субдискурса, направлен-

ная на нужды анализа и систематизации предметной сферы, утрачивается. Рационально-научная терминология превращается в систему метафор, которая не систематизирует свой предмет, а лишь уподобляет его некой условной (виртуальной) системе. Таким образом формируется онтология позитивизма и конструктивизма. Но метафизический статус описывающих её концепций маскируется за видимостью научности. Всё это очень напоминает формирование языка сайентологии и иных позитивистских квазирелигиозных доктрин.

Технократизм

Характерно, что понятие «технократ» обладает в либердискурсе абсолютно сакральным смыслом. Для понятия «технократ» не предусмотрена равноправная дихотомическая пара (что как раз служило бы отличительным признаком научно-технократического мышления). В противовес или в дополнение к понятию «технократы» никогда не говорят о «пневмократах» или «сенсократах». Есть только «технократы» и все остальные — не-технократы. Таким образом, вместо сбалансированной культурной оппозиции в этой части дискурса мы имеем привилегированное означающее, как сказал бы философ Ж. Деррида. То есть отправную точку культурной гегемонии. Вот типичные высказывания: «В правительство пришли технократы» или «Пришли молодые технократы». Второе высказывание явно тавтологично: определение «молодой»

в подобных контекстах можно опускать, оно и так подразумевается, причём независимо от фактического возраста человека.

В рамках либердискурса абсолютно немислимым выглядит выражение «старый технократ». Оно ведёт к разрыву языкового шаблона. Аналогичный комплекс понятий с темами молодости и несменяемости (в совокупности они восходят к мифологеме бессмертия) существовал когда-то в рамках советского дискурса: «Комсомол не просто возраст, комсомол — моя судьба!»; «Стоят комиссары, стоят комиссары, как прежде, стоят у руля!» и т. п.

Технократический субдискурс используется во многих установочных текстах, например, имеющих отношение к социологии и психологии, двум наиболее идеологически нагруженным дисциплинам, ныне вытесняющим на периферию смежные социогуманитарные науки и предпочитающим аналитике формирующие технологии. В сущности, они сегодня играют роль, которую играли исторический и диалектический материализм в рамках советского общественнознания.

Эсхатология («ватный Апокалипсис»)

Мифологема «ватного апокалипсиса» состоит из двух мифем — «ватности» (в понимании «рукопожатных» — социальной неполноценности) и апокалиптического ощущения конца знакомого мира, обрушения основ привычного миропорядка. В 1990-е бывшая советская профессура представляла себе наступающую

эпоху в апокалиптических тонах: основы рухнули, системного знания больше нет, как теперь жить и работать?! И говоря откровенно, эти люди во многом оказались правы.

Сегодня с либеральной системой складывается во многом схожая ситуация. Догматики от либерализма мыслят примерно так же: что делать, мир без глобального лидерства удержать нельзя, произойдёт всеобщий ватный апокалипсис. Теперь всё — «Гуляй, рванина!».

Так, выступая перед спонсорами с предвыборной речью, Х. Клинтон заявила, что половину сторонников Д. Трампа следует поместить в «basket of deplorables» — «корзину для отбросов». Слово *deplorabilis* используется в психиатрии, в выражении «*casus plane deplorabilis*» — «полностью безнадежный случай». Клинтон развивала свою мысль так: «Расисты, сексисты, гомофобы, ксенофобы, исламофобы — дальше по списку. К сожалению, есть такие люди. И он их поднял, разбудил. Эти ребята неисправимы, но к счастью, они не Америка». Либеральные политики и СМИ сочли, что Хиллари не за что извиняться. И сейчас, после победы Трампа, они продолжают так считать. По логике этих заявлений следующий шаг — это отказ от принципа всеобщего избирательного права.

Разве можно предоставлять народу право что-то решать? Это же не настоящий народ, а народ-самозванец («быдло»). Демократия хороша, но не для всех. А дальше начинает работать логика исключения и носитель либеральной идентичности быстро скатывается к

трактовке большинства как нерепрезентативной общности. Для этого используется понятие «гражданское общество», которое предполагает концепт некой «зрелости», некий культурный ценз, обычно не выраженный в ясных критериях, поскольку тогда слишком резко обнажились бы культур-расистские предпосылки данного подхода, классические проявления «мифа превосходства». В итоге в гражданское общество зачисляется несколько процентов от населения страны, но это никого не смущает. Ведь данный факт не отбрасывается в мифе и не подлежит рационализации. Его как бы не существует. Иногда дело доходит и до откровенного расизма, когда начинаются разговоры о «потомственных рабах», «недолюдях» и «генетических отбросах».

Чтобы изменить людей, надо прежде всего изменить их язык. А первый шаг к изменению — это осознание. Языковое бессознательное, как известно, не попадает в поле рефлексии, но как только это бессознательное осознаётся, сразу же начинаются сдвиги внутри системы. Они накапливаются, и по достижении ими критической массы происходит смена парадигмы.

Смена либеральной парадигмы, парадигмы либерального модерна — вопрос времени. Эта смена приведёт к новой форме универсализма и построению общества на основе новых, более коммунитарных принципов.

В частности, это означает переход к ответственному обращению с языком как «институтом всех обще-

ственных институтов»; выработку не одной, а множества лингво-философских стратегий. Это означает право бросить лингвистический вызов философии «автономной личности», утвердившейся в рамках либерального языка в качестве единственной идеологии, которая не может быть поставлена под сомнение.

Тем, кто 20 лет назад говорил о «конце истории», придётся пересмотреть свои прогнозы. Весна истории совсем не за горами, её дыхание уже ощутимо.

Александр Щипков

Освобождение традиции

Тема национальной традиции, поиска так называемых инвариантов отечественной истории является, без преувеличения, одной из примет текущего политического сезона. Идея о том, что государственно-политические формы создаются русским народом согласно его представлению о государственности, а не вследствие применения неких признанных прогрессивными рецептов и схем, не кажется уже особенно смелой. Таковая свободно высказывается в сообществах экспертов и культуртрегеров, примером чего является, в частности, диалог режиссёра Кончаловского с писателем и деятелем оппозиции Быковым.

Десятилетие назад презентация группой Балашовой, Гуровой и Найшуля из Института национальной модели экономики «Азбуки русского общественно-политического языка» встретила непонимание. В лучшем случае работу сочли за идеализацию и панегирик отечественной архаике; в худшем, как Ю. Самодуров, использовали как почву для очередных русофобских спекуляций о «рабской психологии» и «падении в мрачное средневековье».

Проблема физического разрыва с традицией, однако же, заявлена была вполне точно. Решение усматривалось разработчиками, в первую очередь, в языковой, психосемантической плоскости. «Найти общий язык означает договориться». Пожалуй, речь шла о

большем: о своеобразной «перезагрузке» понятий о том, каким образом выглядит правильно работающая система общественно-государственных связей (в рамках национальных инвариант).

По словам В. Найшуля, «наша культура столь близка западной, что мы с лёгкостью её имитируем. И это часто служит нам плохую службу: поверхностное использование западных научных категорий создаёт видимость понимания нашей страны, а поверхностное копирование западных институтов — видимость успешной модернизации». Итогом становится не консолидированный консерватизм и традиционализм, но провинциализм, зависимость от «последнего слова политологии», транслируемого к нам буквально и со значительным отставанием. И даже если позицию Запада принимать за сугубо исследовательскую, всё равно «конкурентоспособность» и «эффективность» национальных моделей, выстроенных в топографии западного политического процесса, ошибочно принимаемого за универсальный и образцовый, остаются весьма ограниченными.

Достаточно задаться вопросом, был ли в отечественной истории Серафим Саровский «традиционалистом» или «новатором», воссоздав фактически заново традицию умного делания, чтобы тотчас стала ясна катастрофическая узость действующей политической методологии. Или иначе: к какой окончательности политического спектра, левой или правой, отнести традиционные формы и институты русского народовластия? «Космополитические» или «патриотиче-

ские» начала движут вперед отечественную науку, культуру? Разорвано ли в гениальных умах стремление к истине, красоте, «общечеловеческой пользе» с желанием доставить России славу и более прагматической целью закрепить её на передовых рубежах прогресса, решить конкретные задачи государственного или экономического строительства?

Ранее мне уже приходилось касаться проблем консерватизма и традиционализма на материале жизни православной общины в России. В 1990-е, наряду с бурным её расширением, наблюдалась отчётливая тенденция к архаизации ряда практик: семейной, приходской, монастырской, образовательной. В большинстве случаев реконструирование, однако, не двинулось дальше простой стилизации. Основное затруднение возникло даже не из-за жёсткого столкновения с современностью. Субъективной оказывалась сама рецепция традиционного. Конкретные исторические примеры принимались за образцовые, тогда как традицией в полном значении этого слова должна быть признана живая драматургия духа, относимая к своему времени. В характерном для современности постмодерновом ключе реальность произвольно подменялась на то, что по ряду субъективных причин больше устраивало. Отдельные элементы в типично позитивистском духе изымались из временного контекста, идеализировались, наделялись несуществующими связями и свойствами. В результате наиболее строго, консервативно сформулированные концепции на по-

верку обнаруживали в себе наибольшие признаки новодела, отчуждённости, субъективного прочтения и интерпретации, наложения на исторические данные и православный канон субъективистского трафарета.

Очевидно, что подобный «консерватизм», к которому более уместно применить приставку квази-, весьма отдалённо, отдельными и искажёнными обертонами восходит к реальности «национального» или «духовного». Основной же его генезис относится к той отчасти бессознательной, отчасти рефлексивной внутренней механике современного индивида, которую психология в целом удачно выражает символикой «комплексов», «замещений» и «вытеснений», «компенсаций» и «сублимаций». Огромная проблема здесь не только в распространении эрзацев консерватизма, патриотизма и церковности, но и в том, что упомянутые фантомы на деле являют яркие примеры антиподхода и антипрочтения. Крайний, но далеко не единственный пример здесь — это мечтательная эклектика А. Проханова и М. Калашникова: игры в расчленённые, омертвевшие фрагменты православного мировоззрения, советской державности и футуристики, иногда выходящие на уровень прямых мракобесия и алхимии. Аллюзия на мотивы «перпетуум мобиле» и «имперского возрождения», где жажда реванша и торжества а la Запад рождает особое к нему подбострастие, а столкновение с жёсткой реальностью делает авторский импрессионизм оголтелым, гото-

вым «хоть с самим чёртом» кооперироваться ради утверждения своей утопии.

Объявляя себя наследниками «национального» и «православного» в современной России, мы в действительности пребываем в отрешённости и недоумении относительно того, что может представлять собой жизнь, опирающаяся в полноте своей на национально-православный архетип, и ещё менее мы уверены в способности утверждать таковой в конкретных исторических обстоятельствах. Большинство версий православного мировоззрения или патриотического мировоззрения обнаруживают внутри примесь прагматики и мечтательности. Не стоит говорить, что подобное механическое, волюнтаристское сочленение утрирует духовно-национальную составляющую, низводит её до положения подчинённого, выхолащивая тем самым её энергетику и содержание, либо заставляет носителей данного мировоззрения впадать в мистификации.

Очевидно, помимо задачи усвоения общественно-политического языка немалый интерес представляет возможность аутентификации национального образа и смыслов. Это напоминает то, как на протяжении XVIII-XIX веков традиционным считалось так называемое «дымное письмо», и в подражание ему мастера искусственным образом сглаживали тона и переходы, уводили изображение в тёмно-охристый спектр. Нынешнее восприятие «православного» и «русского» не ближе к реальному. За «традиционное», «консервативное» принимаются в основном внешние и случай-

ные атрибуты и факторы — слои потемневшей олифы. На протяжении полутора десятилетий «проекты», как в церковной, так и политико-патриотической сфере, сменяют друг друга. При этом подлинная палитра красок, живых и ярких, раскрывающая полную свободу духовного творчества, остаётся неузнанной, недораскрытой.

Главным препятствием к возрождению должно быть названо это — стереотипное идеологическое прочтение национальной традиции. За этим последует аутентификация: скрупулезная расчистка «иконы русской жизни», вживание, вчувствование в её характерный образ. Наконец, найденная «традиция» как принцип, как инструмент творчества должна быть раскрыта в практическом, актуальном прикладном качестве к современности.

Прошлое даёт многочисленные примеры подобной актуализации, и старая Россия, помимо «имперского», «цивилизационного» мейнстрима, заключает в себе множество типически русских ответов на изменение внешних условий.

Аутентификация предполагает опознание и отсеивание псевдорусского и псевдотрадиционного. Примером здесь может послужить «Домострой», в общем мнении представляющий собой как бы эталон национальной традиции. В ближайшем же рассмотрении данный памятник пронизан заимствованиями. Эпоха Ивана Грозного — начало обширной модернизации по европейскому образцу. Для придворного круга, боярства, купечества уже в то время имел место «ци-

визационный соблазн», и итальянские, немецкие, фламандские веяния представлялись передовыми, многообещающими. Одним из ретивых модернизаторов был царский духовник, протопоп Сильвестр — автор «Домостроя». Книга базируется на венецианских и фламандских образцах и представляет своего рода Дейла Карнеги XV века — технологию успеха, портрет «передовой семьи», а отнюдь не среднюю социологическую норму русского народного быта. Понятно, насколько нелепыми являются возведение «Домостроя» в степень, попытки волюнтаристски протолкнуть его на роль «православного шариата» (Г. Павловский).

Необходимо дистанцироваться также от многих других расхожих стереотипов, таких как романтизация «русской души» в михалковском вкусе: водки, медведей, балалаек с матрёшками. Не представляется целесообразным линейное рассечение отечественной истории на Россию «до Петра» и «после Петра», царскую и большевицкую. Проникновение модерна в ткань русской жизни предопределяется далеко не одной европеизаторской политикой первого российского императора; сама эта политика во многих чертах представляет типично русское явление. Равно как Октябрь 1917-го может отчасти считаться национальным явлением на фоне выпущенной из-под контроля, чужеродной модернизации начала XX века — фракционных распрей и диспропорций становящегося олигархического капитализма.

Метод аутентификации крайне актуален, когда анализ касается культур и обществ, лежащих за пределами романо-германского и англо-саксонского мира. Пятитысячелетние Индия, Китай и Ближний Восток существовали и существуют во многом на собственных основаниях. Они никогда, мягко говоря, не жаждали быть втиснутыми в диалектику истории Гегеля, марксову классовую теорию или в новомодные концепции Ясперса, Тойнби и Хантингтона. Всё это, если смотреть строго, — спекуляции, проявления политического волюнтаризма, почву для которых даёт в основном и нынешнее доминирующее положение Запада. Но, если даже признать объективной действовавшую до сих пор трактовку цивилизации, начавшийся распад цивилизационных тенденций и отказ Запада от универалистских сценариев в пользу изолированности от остальных стран и народов автоматически лишают смысла и универалистскую историографию.

Конечно, на это всегда можно возразить, что процессе аутентификации сам не свободен от произвола и спекулятивности. Это так. Но, по крайней мере, полезно отвлечься от обычного наивно-самоуверенного картезианства, в рамках которого автономный субъект, действуя в типично позитивистском ключе, «объективно познаёт вещи» — безразлично, относящиеся ли к материальному миру или религиозные, — а взамен этого перейти к более пластичному мышлению в категориях «знака» и «культурного текста», предлагаемому семиотикой.

Подобно тому, как на Западе позитивизм и дискурсивная логика (традиционные для него основания) в определённый момент открывают дверь ко взрывному совершенствованию знания и материальных форм, русскому национальному возрождению надлежит предоставить свой чистый и в то же самое время просторный контекст. Тот уникальный контекст, в котором традиция сумеет раскрыться в своём динамическом, а не пассивном качестве, по-рублёвски заиграет оттенками живого смысла, инициативы, энергии, роста.

Центральный вопрос состоит в том, что подразумевать под «цивилизацией» в приложении к понятию «русская» и «православная»? Русская ли это версия модерновых процессов, навеянных Западом: достижения отечественной мысли, науки, культуры, общественного и государственного строительства XVIII-XIX веков, прошедшие под знаком просвещения и прогресса? Или та «инаковая» Русь, которая длительный срок до начала активной централизации самостоятельно строила свой путь и в последующие времена открывала себя таким «историческим парадоксом», например, в старчестве или лесковских рассказах? Привлекательное многих пришествие «русской цивилизации», «православной цивилизации» означает ли новый виток модерна, в котором прерогатива на прогресс, коды научно-технического, экономического, политического роста переходят от Запада в руки России, или же перемену как таковой парадигмы развития, «конец истории» по версии Запада,

с возможностью национальным силам высвободиться из-под бремени состязательности, в пользу восстановления собственно русских и православных ориентиров развития?

Семиотически содержание понятия «цивилизация» остаётся размытым. Это даёт повод к многочисленным спекуляциям: от неоимперских и реваншистских до идиллических (спасения мира посредством красоты, «всечеловечности», «космизма» русской души) или даже эзотерических («пришествие Царя-спасителя» и пр.). Похоже, что в возрождаемой России XXI века народ-исихаст (А. Панарин) призовут явить чудеса конкурентоспособности и технической изобретательности, а «зачарованных странников» приставят решать вопросы межнациональной политики.

Типичнейшая ошибка состоит в уклонении в политизм и экономизм. Так, феномен Сергия Радонежского прочитывается в контексте примирительной миссии между князьями и в связи с благословением, данным на Куликовскую битву войску князя Дмитрия. Иногда упоминается монастырская колонизация северных и северо-восточных территорий. С конца XIV века учениками Сергия Радонежского в течение краткого периода времени основывается более 150 (!) монастырей и скитов, чем подготавливается почва для заселения упомянутых мест русскими. Однако всё это — наружная сторона и следствие. Куда более существенно то, что преподобный Сергий самостоятельно, по наитию нащупывает

нить исихастского делания, опытным путём приходя к тому же прорывному совершенствованию в духе, к тем же созерцаниям, что и великие отцы, представители знаменитых и древних монашеских школ. Для средневековой Руси, отдалённой окраины христианского мира, всегда остававшейся в положении «догоняющего развития» в отношении византийской церковной традиции, это становится поворотным моментом.

Политические решения и военные кампании, достижения материальной культуры и законодательство — всё то, на что обращает внимание существующая отечественная историография, сама представляющая продукт европеизации XVIII-XIX веков, — на поверку дают искажённую картину русской традиции и взаимосвязей внутри неё. На место, которое в западном развитии занимают метод, организация, право, иерархичность, внешний рост, расширение материальных возможностей, у нас должны быть поставлены свои принципы и достижения. И та же колонизация северо-восточных земель преподобным Сергием и его последователями не рассматривалась как самостоятельная цель или составляющая некоего «проекта».

Коллектив молодых московских интеллектуалов, составивший документ под названием «Русская доктрина» с подзаголовком «Сергиевский проект», таким образом, очень точно отнёс свои упования к одному из важнейших, наиболее показательных периодов национальной истории. Проблема в том, что интел-

лектуализм не является релевантным при рассмотрении темы. В сочетании слов «русская» и «доктрина», «Сергиевский» и «проект» априори содержится противоречие. Ибо не отвлечённая конструкция или принцип в реальных условиях служили основаниями и ориентирами для национального строительства. Отдельные обнаруживаемые исторической наукой феномены, которые в типично западном духе рашифровываются как «цивилизационные», в православном русском контексте играют роль косвенную и второстепенную.

Происходит нечто, что в системе современных понятий можно уподобить научному или технологическому прорыву, раскрытию формулы или воссозданию передового, технически гениального устройства. Затерянный в лесах, никому не известный Маковец становится подобен Синаю с Афоном. Конечно, это коренным образом влияет на самоощущение русских. Философский камень добыт и добыт самостоятельно. Нет ни изъяна, ни предопределённости в том, чтобы смотреть на Византию как на недостижимую вершину (вспоминаем нынешние вестернизаторские концепции прогресса), угрызаться неполноценностью и отказывать в значении национальному опыту.

Успех преподобного Сергия в «выходе на уровень передовых мировых образцов», каковыми на то время являлась синергия со Святым Духом, достигаемая посредством особой системы аскезы, делает радонежский Троицкий монастырь на последу-

ющие полтора столетия центром русской истории. Сергиевский пример оказался весьма действенным. Впоследствии он был неоднократно повторён восприемниками преподобного, можно сказать, «оказался поставлен на поток». Новые маковцы зарождались один за другим в вологодских, костромских, нижегородских, архангельских лесах. Димитрий Прилуцкий, Кирилл Челмогорский, Авраамий Галицкий, Стефан Махрицкий, Александр Куштский, Стефан Пермский, Пахомий Нерехтский, Дионисий Суздальский, Сергей Нуромский, Кирилл Белозерский, Савватий Соловецкий, Андрей Рублёв образуют далеко не полный перечень имён тех, кто составил славу золотого века русского иночества, Северной Фиваиды.

В данном аспекте должна мыслиться тематика цивилизационного развития, преемственности между Византией и Русью. «Москва — Третий Рим». Что вкладывает старец Филофей в упомянутый образ? Буквально, чем обеспечивается передача от Рима Второго, Константинополя, миссии к Москве? Соответствует ли этому наша теперешняя «цивилизационная» трактовка истории, политического лидерства, духовного и национального призвания, города, миропорядка? Очевидно, Средневековье имеет своё отношение к упомянутому ряду понятий; тем более русское Средневековье, в связи с современным сознанием нуждающееся как бы в двойной аутентификации — переводе сначала на язык национального смысла, высвобождения из-под «вавилонского

пленения» западными стереотипами и ценностями с последующим вживанием в иную и своеобразную временную реальность.

XIV век — апогей периода, называемого Палеологовым, заключительного отрезка в истории Византии, когда на фоне военных трудностей и разочарования общественно-политическими перспективами, ясней проступило значение квинтэссенции византизма, состоящей в исихии — созерцании Фаворского света и преображающем действии Божественных энергий. Это тоже прогресс, однако прогресс иного рода, выражающийся в «цивилизации» внутреннего пространства человека.

В X-XI веках в Византии была разработана и широко применялась система практического богообщения. Для нас святость теперь является чем-то заоблачным, получаемым в исключительных случаях. В Палеологово время или на Руси в среде последователей Сергия стать святым было доступно примерно в такой же степени, как нашему современнику — окончить МГУ или МГИМО. Был накоплен колоссальный аскетико-воспитательный опыт. Исихазм не механистичен, как нынешняя наука, но, тем не менее, он предполагает знания, логику, школу, систему, принципы, инструментарий.

Сумма данного опыта и есть православная цивилизация в её настоящем значении, претворяющая себя в принципиально иное устройство жизни, взаимоотношений, хозяйствования, управления, эстетики и всего прочего. К сожалению, всё это почти утрачено.

Остаются письменные памятники и единичные неуверенные попытки. Кто-то, как современные афонские исихасты, интуитивно соприкасается с опытом древности, но возобновить в былой славе не может. Большинство дискуссий на темы традиции идут мимо этого.

Кто-то скажет, что в современном мире перенос внимания с политико-экономических и военных механизмов обеспечения суверенитета и глобальной конкуренции на духовные практики чреват ослаблением позиций. Но как знать, чем до сих пор суверенитет достигался — фронтальной ли организационной активностью на манер англосаксов, примером чему был Советский Союз времён холодной войны, формировавший симметричную систему цивилизационных институтов, или же дух асимметрии, парадокса, витающий над прошлым России, претворяемый в алогической тактике Кутузова, визионерстве Менделеева, в скрытых резервах народной смекалки и массового героизма Великой Отечественной, оказывали решающее действие? Стечением обстоятельств, которому сложно дать исчерпывающее объяснение, прочность позиций России и теперь обеспечивается тем, что плохо укладывается в рациональный план: наличием богатых запасов природных ресурсов и субъективным фактором, связанным с личностью «национального лидера».

В истории действует своеобразный закон уравнивания. Не будь этого, периферия давно должна была сдаться на милость победителя, обладающе-

го превосходящими организованностью и технологиями. Но очередные конкисты наталкиваются на обстоятельства непреодолимой силы. Догоняющее развитие определяет далеко не всё. Периферия и православный мир обладают своей устойчивостью. Уступая инициативу Западу, Восток выигрывает в живости и свободе восприятия. Издержки же западного *ratio* отягощают развитие, приносят в цивилизационный рост элементы противоречий и неустойчивости.

Рим Первый — порядок и право, Рим Второй — синергия. Каков будет вклад Третьего Рима? По-своему уникальны восприятие и переработка Россией и русскими в истории принципов прогресса, научных исследований, литературы, искусства. И ещё более впечатляющими следует считать реалии агиополитики. На проявления сверхъестественного в секуляризованном мировоззрении смотрят со скепсисом. В то же самое время для православной традиции сверхъестественное — норма. У апостола Павла: «[Святые] верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих...» (Евр. 11, 34). Таковы ноу-хау в рамках православной цивилизации, методики, превосходящие мёртвую технику. В житии преподобного Варлаама Хутынского есть характерный эпизод с «защитой растений» наряду с «повышением плодородия», когда по прошению святого на посевы озимых выпал ранний снег и уни-

чтожил вредителя. А пожар в Великом Новгороде, который неожиданно угасил странный нагой человек, Василий Блаженный, — чем не прорыв в ликвидации чрезвычайных ситуаций?

Русский православный человек должен снова запеть, слиться со стихиями жизни, почувствовать себя в молитвенном творчестве. Должно заново состояться переоткрытие синергического опыта. Явление нового великого святого, путеводной духовной фигуры для современной России более важно в сравнении с перевооружением армии и промышленными инновациями. Ибо мобилизация не наступит на основании рациональных схем, пускай и включающих наличную Православную Церковь. Только возрождение, расцвет в сергиевском смысле изменят диспозицию и сами стихии вокруг России расположит иначе.

Андрей Rogozянский

Язык церкви

Проблема церковного языка — это в первую очередь проблема перевода. Недооценка этого факта ведёт к подмене языка жаргоном, поэтому язык «либерал-православия» может быть сегодня описан и изучен именно как жаргон.

Нередко внешние наблюдатели указывают на некий эсхатологизм и фатализм восприятия общественных процессов в церковной среде. И задаются вопросом: почему же православные группы и общины, констатируя моральный кризис общества, в основном позиционируют себя как «зрителей в партере»? «Существует ли у российской церковной общественности иной, некатастрофический язык для описания *современности*?» — спрашивают они.

На самом деле современная социальная и культурная ситуация, вызванная кризисом проекта модерна, не столь эсхатологична, сколь «герменевтична». Она очень напоминает библейский сюжет о вавилонском смешении языков. Да, это катастрофа, но катастрофа в каком-то смысле плодотворная. С точки зрения Церкви ситуация выглядит именно как аналог ситуации многоязычия, которая уже возникала в апостольские времена и точно так же требовала нести Слово Божье самым разным племенам и народам, всем вместе и каждому в отдельности:

«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришёл в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Азии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих?» (Деян 2: 1-12).

Следовательно, при обсуждении языка Церкви в этот переходный период главной становится именно проблема полигlossии современного общества. А это в свою очередь означает необходимость ревизии и переоценки на первый взгляд знакомых понятий, таких как «современность», «секулярность», «религиозность», «гуманизм», «традиция» и др. Уточнение базовых понятий представляет собой условие, без которого разговор о языке Церкви

ви, шире — языке христианской традиции, будет постоянно хромать, наталкиваясь на расхождения в терминах.

Для начала следует разобраться с тем, что мы понимаем под «современностью». Есть большие сомнения в том, что сегодня можно воссоздать монолитный и внутренне непротиворечивый образ, стоящий за понятием «современность» (как в академическом значении «модернити», так и в более широком смысле). Современное общество дискретно и фрагментированно, в нём усиливаются социальное расслоение, клановость, растёт роль локальных идентичностей и меньшинств, отсутствует единое идеологическое пространство. Сегодня в цене узкие компетенции и спецификаторство, разделение интеллектуальных усилий. Культура приобретает всё более нишевый характер; для неё характерны, с одной стороны, антитрадиционализм и антихристианские мотивы, с другой — антирационализм, неприязнь к классической рациональности и фундаментальным энциклопедическим знаниям, а кроме того — провокативность, наивная демонстративность и агрессия, примитивизация языка, ультраправый радикализм под маской остаточной гуманистической либеральности.

Всё это заставляет говорить о феномене «нового варварства», в значительной мере искусственном, об архаизации господствующей социальной модели. Иначе говоря, о нонмодерне (термин Б. Латура, характеризующий состояние общества как «зависание между

историческими этажами») ⁶, а не просто о «постмодерне» и уж точно не о «позднем модерне», как до сих пор ещё иногда принято утверждать в рамках публичных обсуждений.

Иными словами, мы находимся вовсе не в состоянии «незавершённого модерна», как было принято утверждать вслед за Ю. Хабермасом ⁷, а скорее в состоянии *ном.модерна* переходного периода, который характеризуется преобладанием явлений контрмодерна — ультраправых, конструктивистских, нацистских, технократических, квазифундаменталистских и прочих радикальных тенденций. Пока ещё этот *временный, ситуативный контрмодерн* не превратился в долгосрочный культурный базис. Пока это лишь рефлекторная реакция общества на износ прежней модели культуры, отсечённой гуманистическими ценностями и научно-критическим типом мышления. Если обращаться к далёким и рискованным историческим аналогиям, то данное состояние общества чем-то напоминает состояние упадка Рима, состояние накануне христианской эпохи.

Между тем хабермасовские идеи «незавершённого модерна» и «нового проекта модерна» хотя и противоречат объективному положению вещей, пока ещё не

⁶ Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии / пер. с фр. Д. Я. Калугина. Спб.: Европейский ун-т в Санкт-Петербурге, 2006.

⁷ Хабермас Ю. Модерн — незавершённый проект (речь по случаю вручения премии имени Т. Адорно) // Хабермас Ю. Политические работы. URL: <http://e-libra.ru/read/353621-politicheskie-raboti.html>.

свергнуты с пьедестала. При этом они, к сожалению, скрывают в себе интеллектуальную ловушку, которая не сразу бросается в глаза. Идея «незавершённости» как бы предполагает, что модерн мог бы длиться (завершаться) вечно. По сути мы здесь наблюдаем смену исторической интенции либерализма, который единолично говорит от имени модерна. Революционная фаза борьбы за «лучший и правильный» миропорядок сменяется инерционной фазой, фазой консервации. Прежде революционный проект на наших глазах становится реакционным, что впоследствии порождает феномен «нового варварства» в культуре и архаизацию либерализма, что отчасти признавал и сам Ю. Хабермас, говоря, например, об «институционализации агрессии» в период бомбёжек Югославии силами НАТО.

Состояние общества как состояние нонмодерна пока ещё не принято прямо констатировать, принято заменять его эвфемизмами. Часто говорят о периоде постсекулярности, «эпохе гибридов» и т.п. В каком-то смысле это объяснимо, учитывая тот факт, что итог совершающегося исторического перехода не предопределён. Есть точка бифуркации, и неизбежен выбор: *аксиомодерн* (синтез традиции и рационализма модерна) или теперь уже *системный нонмодерн*⁸, то есть резкий регресс (как на сломе эпохи античности).

⁸ См. об этом: Щипков А. В. Бронзовый век и аксиомодерн // Бронзовый век России. Взгляд из Тарусы. М., 2015; Черняховский С. Ф. Традиция, модерн и сверхмодерн // Перелом. Сборник статей о справедливости традиции. М.: Пробел-2000, 2013.

Сегодня состояние культурной среды вызывает тревогу не только у экспертов, но и у обывательского большинства. Распад рационально-критической модели культуры и её варваризация, новая клановость, реабилитация ультраправых идей создают не самую радужную перспективу ближайшего будущего.

Альтернативная модель культурогенеза возможна лишь в рамках некоего *нового универсализма*. Метакультурный универсализм как новая модель культуры может прийти на смену обычному традиционализму, релятивизму постмодерна и «незавершённого модерна», а также проекту «обновления модерна». Он может быть обозначен термином «аксиомодерн», указывающим на культурный синтез ценностей традиции и интеллектуального арсенала модерна.

Но пока стадия нового универсализма не достигнута, вряд ли правомерно говорить о «едином языке» современности и, соответственно, о возможности единого перевода на него с «языка традиции». «Современностей» сегодня много; общей современности пока не существует, процесс её складывания находится в самой начальной стадии, причём образ будущего ещё не определён.

Понятие «секуляризация», тесно связанное с понятием «современность», также требует проблематизации.

Данные об уменьшении числа верующих в культовых учреждениях — даже тогда, когда они не вызывают сомнений — касаются только части мира. Другая часть по-прежнему религиозна. В США позиции про-

тестантского фундаментализма чрезвычайно сильны, католицизм силен в Польше и Италии, Латинской Америке, иудаизм — в Израиле и т. д. А между тем секуляристский тренд объявляется мировым, секуляризм — универсальным умонастроением. Это, конечно, неверно. А в последние годы возникают серьёзные сомнения в линейности и необратимости секуляризации даже там, где она действительно имела место, — с этим связан огромный корпус исследований проблемы постсекулярности. Вполне очевидно, что устоявшееся в XX веке толкование понятия «секуляризация» не соответствует его реальному сегодняшнему содержанию.

Простое на первый взгляд утверждение: «Современность потребовала от Церкви нового языка» — в нынешних условиях нуждается в дополнительном осмыслении и разъяснении. В ближайшее время потребуются серьёзные и долгосрочные усилия для достижения какой-то конвенции в этом вопросе. Говоря о языке Церкви, мы должны отдавать себе отчёт в том, каково его реальное назначение сегодня, и не совершать некоторых типичных ошибок.

Например, методологически неправильно говорить о «диалоге Церкви и общества», поскольку все церкви и религиозные организации — это тоже часть общества, и такая формулировка выглядит дискриминационной. В действительности речь идёт о диалоге между верующей и секулярной частями общества. Здесь важно понимать, что с точки зрения категории «религиозности-секулярности» общество по определе-

нию неоднородно: полностью секулярным является по Конституции лишь государство, а смешение этих двух понятий ведёт к грубой методологической ошибке, которую необходимо избегать.

Из сказанного естественным образом следует вопрос: язык Церкви в нынешней ситуации — это язык общения с какими собеседниками? Возможен ли (и нужен ли) такой универсальный язык, который одинаково хорош для разговора с инославными, с представителями иных конфессий, с носителями разных форм нерелигиозного сознания — агностиками, деистами, воинствующими и умеренными атеистами, представителями политического секуляризма? Предположим, что такой язык и нужен и возможен, но как он должен строиться? Для исчерпывающего ответа на этот вопрос совершенно точно не хватит одной статьи, но двигаться в сторону такого ответа необходимо.

И, по-видимому, говоря о таком универсальном церковном языке, первое, что нужно сделать, — это избавиться от мифа о секулярной части общества как о чём-то стандартизированном, как о якобы единственном существующем для верующих «значимом Другом». Такое представление о секулярности и о современном обществе присуще лишь радикальным секуляристам, но мнение о том, что этот «стандарт секулярности» разделяется всем обществом или даже его секулярной частью, конечно, беспочвенно. Эта гипотеза столь же абсурдна, как если бы мы предположили, что верующих всех мировых религий представ-

ляет только одна религиозная структура. Как никто не может единолично присвоить язык религиозности, так никто не может единолично присвоить и язык секулярности. Монолитного единства никак не получается. Ведь даже модернистские идеологии не сменяют и не вытесняют друг друга без остатка: в одно и то же время существуют старшая линия модернизма, либеральная, и младшая, коммунистическая и социалистическая, не говоря уже о разных формах ультра-правого радикализма.

Что следует из сказанного? Проблема заключается в том, что Русской Православной Церкви в переходную эпоху нужно уметь вести диалог одновременно со множеством разных социальных и культурных субъектов, вести его в предельно фрагментированном и пёстром пространстве малых нарративов и малых культов, где в единой мозаике сосуществуют самые разные убеждения и верования, где идеологии в узком, политическом смысле слова, пересекаются с явлениями мифорелигиозного характера, с феноменами гражданской религии, где классическая религиозность соседствует с неклассической. Ведь вся эта пестрота и составляет подлинный интеллектуально-культурный ландшафт постсекулярного общества, всю ту «интерсубъективность» и тот «коммуникативный разум», о которых, в частности, писал Ю. Хабермас.

А из данного положения в свою очередь следует, что язык Церкви должен быть одновременно и «равноудалённым», и хорошо понятным, эпистемически приемлемым для всех социокультурных групп.

Из чего следует неизбежный вывод: осознание многоязычия современной культуры есть первое условие успешной трансляции церковно-религиозного опыта в обществе.

В настоящее время речь может идти о том, что дискретное культурное пространство требует языка универсального, каким, в сущности, и является исторический язык Писания, Предания и христианского культурного опыта. Модифицировать этот язык можно лишь до известной степени, поскольку такая модификация требует учитывать тезаурусы очень разных культурных сообществ, то есть должна покрывать всё многоязычное пространство современности. Обеспечить равную близость ко всем культурно-языковым системам можно лишь сохраняя свои собственные исторические особенности. Именно поэтому Церковь тысячу раз права, предупреждая об опасности революционного отказа от церковнославянского языка.

Подход к проблеме в целом требует решения двух смежных задач. С одной стороны, при сохранении языкового ядра, в том числе исторической стилистики церковного языка, неизбежно возникновение внутри него ряда социолектов. Модель языка Церкви, таким образом, будет выглядеть как *ядерная система*, организованная по принципу «центр — периферия», причём периферийные социолекты как раз и будут соотнесены с горизонтальными иерархиями современного общества и многообразием социокультурных явлений.

Этот принцип в чём-то аналогичен соотношению узуальной (нормативной) и окказиональной сфер общелитературного языка. Окказиональная сфера находится за пределами языковой нормы, но при этом может в ряде случаев порождать «потенциальные» слова и конструкции: «Это своего рода новаторство, которое может быть названо естественным, потому что нередко имитирует реальную историю языка, создаёт, следовательно, факты языка, хотя и небывалые, новые, тем не менее, возможные, а нередко и реально отыскиваемые в каких-нибудь особых областях языкового употребления: например, в древних документах, в диалектах, в детской речи и т. д.»⁹. Представляет немалый интерес существование этих потенциальных форм речевого высказывания, которые строятся по уже содержащимся в языке нормативным моделям, но в качестве актуальных ещё отсутствуют на момент анализа. Применительно к нашему случаю можно говорить о пролиферации дискурса в соответствии с традиционными речевыми моделями в рамках церковного языка. «Потенциальный» сегмент церковного языка и его социолектов выполняет не просто дескриптивную (описательную), но и онтологизирующую, детерминистскую функцию, то есть «схватывает» и формализует в языке новые явления социокультурной реальности, способствуя их освоению и систематизации.

⁹ Филологические исследования. Лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1990.

Следующей задачей церковного языка является функция культурного перевода, посредничества между разными сегментами культурного пространства и множественностью социальных и культурных субъектов, о чём уже говорилось вначале.

Церковный месседж должен быть одинаково интересен и важен для каждой из социокультурных групп. Поэтому главная проблема церковного языка — это проблема перевода. Недооценка этого факта ведёт к подмене языка жаргоном, в частности, язык «либерал-православия» может быть описан и изучен именно как жаргон.

Перевод необходим для достижения консенсуса в обществе. Это означает, например, необходимость взаимодействия разных кодов традиции — православного, советского, русского дореволюционного — и взаимный перевод этих кодов в рамках единого русского дискурса. Без выполнения этого условия национальный консенсус невозможен, зато возможно противопоставлять эти коды друг другу, вызывая гражданские конфликты (яркий пример — ситуация с переименованием станции столичного метро «Войковская»).

Задача культурного перевода требует учёта культурспецифичности чужого восприятия, умения соотносить эту культурспецифичность с собственной культурспецифичностью. Возьмём хорошо знакомый пример из области этнокультурных различий. Когда мы рассказываем китайской аудитории сюжет о преломлении хлеба во время Тайной Вечери или сюжет о кормлении семью хлебами, мы вынуждены навязы-

вать свою культурспецифичность — настаивать именно на «хлебе». Иначе образ не сработает, поскольку главное ритуальное блюдо для китайцев — рис, а «разделение риса» воспринимается с трудом и не отражает ни китайскую практику, ни звучание исходных новозаветных мотивов. Рассказывающий как бы «садится между двух стульев».

Другой пример. Как объяснить без смысловых потерь, почему Бог у христиан спускается к людям и страдает за них, если с точки зрения других традиций назначение богов — лишь повелевать людьми?

Так в ходе пересказа мы неизбежно получаем аберрацию восприятия. Единственный выход — это поиск адекватной формы перевода или, что более эффективно, построение такого языка, в рамках которого трудности перевода и информационный шум будут минимальны. По всей видимости, такой универсальный язык может возникнуть лишь на пересечении теологического и общепhilософского дискурсов. Это важное условие успешной коммуникации.

Язык философии как наиболее прозрачный и саморефлексирующий и наименее культурспецифичный представляет собой «эсперанто» в мире идеологии, которым неизбежно придётся пользоваться Церкви. И здесь мы вплотную подходим к проблеме переосмысления роли и функций религиозной философии, а точнее, религиозно-philософского дискурса, который должен быть не квазинаучной надстройкой над богословием, как религиозная философия рубежа XIX-XX веков, а дополнительным звеном, дополни-

тельной знаковой системой, своего рода контейнером, позволяющим в свёрнутом (имплицитном) виде перенести религиозно-церковные смыслы в иной социокультурный контекст, в рамках которого эти смыслы успешно распаковываются. *Философская опосредованность* коммуникации, позволяющая обойти множество культурных препятствий, — второе условие трансляции церковно-религиозного опыта в современной культуре.

Важная задача, которая должна быть решена в интересах успешности высказывания, — это *концептуальный анализ языка* (социолекта или идеолекта), на который необходимо совершить перевод в каждом конкретном случае. Изучение любого языка начинается с исследования его концептосферы и модальных конструкций. Для изучения концептосферы церковного языка и «встречных» языков можно использовать подход А. Вежбицкой (в частности, идею «неразложимых семантических единиц») и генеративную лингвистику Н. Хомского (идею порождающей грамматики, модель *hardware structure* и *software structure*)¹⁰.

Понимание современных проблем в контексте смысла христианского Писания и Предания достигается посредством герменевтического подхода, который позволяет снимать культурные барьеры, «читать» в категориях одной культуры другую или другие культуры. Необходим герменевтический подход к концеп-

¹⁰ См. Вежбицкая А. *Язык. Культура. Познание*. М.: Русские словари, 1996; Хомский Н. *Язык и мышление* / перевод с англ. Б. Ю. Городецкого. М.: Изд. МГУ, 1972 и др.

тосфере церковного языка и усилия по осуществлению межкультурного перевода. Эта деятельность требует выполнения ряда условий. Среди них — важнейшее для христианина умение занять равноудалённую позицию по отношению ко всем историческим эпохам, включая современную. Только в этом случае он может с уверенностью ощущать себя находящимся внутри традиции, которая есть явление трансисторическое и не отождествимое ни с концептом «прошлого» (консервативный подход), ни с концептом «современности» (либеральный подход), ни с «золотым веком», ни с «модернити». При этом, разумеется, важно избегать историко-хронологических разрывов, порождающих политические штампы вроде «Существует ли богословие после ГУЛАГа (Освенцима, Хиросимы, Гуантанамо — нужно подчеркнуть)?».

Вместе с тем надо избегать и соблазна постмодернистской относительности. Для нас принадлежность к христианской традиции — это не ролевая установка, а тоже часть (частица) этой традиции, достоверный факт, и при этом сама традиция столь же «конвенциональна» (*convention*), сколь и субстанциальна (*tradition*). Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Аврелий Августин, Дионисий Ареопагит, Григорий Палама, Сергей Радонежский, Александр Невский, патриархи Гермоген, Тихон и Сергей — все они говорили, писали, действовали и пеклись в том числе и «о дне сегодняшнем». В этой убеждённости проявляется договор церковных поколений, погружённых в Предание: мы реализуем не только свои

помыслы (за которые несём ответственность перед Господом), но и те, что оставили нам наши предшественники. В этой точке берёт начало и принцип коллективного спасения (соборности в деле спасения). Ведь очевидно, что тексты Августина были предназначены не только для него и его современников, но и для нашего спасения. Понимая это и пользуясь наследием Августина, Дионисия Ареопагита, Григория Паламы, мы должны так же промыслительно думать и о следующих поколениях православных верующих. Уклоняться от выбора и действия не в нашей воле, ибо Бог наделил нас талантами не затем, чтобы мы их зарыли в почву той или иной исторической эпохи.

Дмитрий Полковников

Прямое высказывание

*И в бессмыслице скомканной речи
Изоцрѣнность известная есть.
Но возможно ль мечты человецки
В жертву этим забавам принести?*

Н. Заболоцкий

*... Как проведёшь пред собою всё,
что случилось видеть: туман, ей-
Богу, какой-то пойдёт в голове ...
и изо всего этого только какая-то
тёмная, мусорная куча выходит.*

Н. Лесков

I

Какой язык наиболее характерен для современной культуры? Отстранѣнный и как бы посторонний взгляд выделит в ней в первую очередь направление contemporary art (этот термин вряд ли стоит переводить с помощью устоявшегося в русском языке словосочетания «современное искусство», скорее подойдѣт понятие «нынешнее» или «текущее»). Однако представители contemporary art давно предпочли заменить прозрачную форму и некое конкретизированное содержание поисками неопределѣнных ощущений, попытки выразить которые обычно ведут к бессвязности

и невятности. Современное выставочное искусство отдало себя на откуп случайности, пытаясь отыскать в природном и человеческом хаосе как бы «сами собой» проступающие смутные черты и отголоски целостности мироустройства. Иными словами, современная культура подобна ребёнку, закрывающему глаза и с удивлением пытающемуся рассмотреть в бликах света, слабо проглядывающих сквозь веки, хотя бы каким-то образом осмысленные знаки и формы.

Из таких эстетических практик человеку трудно извлечь что-то для удовлетворения своих экзистенциальных запросов. Неудивительно, что в конце XX века из «тела» умирающей высокой культуры «душа» стала перетекать в культуру массовую и низкую. В то время, когда в поисках неиссякаемого источника жизни умирающее «современное» искусство обратилось к политическому заказу и обслуживанию вкуса определённой части экономических элит, неказистое и неприглядное массовое искусство, напротив, словно гадкий утёнок, начало расправлять крылья. Взлетит этот утёнок или нет — удовлетворит ли он экзистенциальные запросы современного человека — зависит исключительно от того, сможет ли он в полной мере освоить язык наступающей эпохи.

Необходимо оговориться: под массовой культурой мы понимаем не какой-то конкретный стиль или жанр, но сам способ, метод существования культуры. Понятия «элитарного» и «массового» в узком значении (как, например, у Ортеги-и-Гассета) сегодня постепенно теряют строгие очертания. Если XX век

уверенно отделил искусство «ради развлечения» от искусства «ради эстетики», то в XXI веке и одно, и другое — только варианты субкультур единой, всеобъемлющей культуры. А всеобъемлющая культура руководствуется одним главным принципом — говорить на языке, понятном всем и каждому.

II

Язык культуры всегда подстраивался под запросы и вкусы человека определённой эпохи. Первобытный человек не видел себя вне и не вычленил себя из окружавшего его природного мира. Именно поэтому в его собственных изображениях он появляется лишь небольшой и маленькой тенью в сравнении с природой, что существует вокруг него, — словно ребёнок, «я» которого находится лишь в процессе формирования¹¹. Античная идеализация образа, напротив, мерит себя человеческими рамками: красив тот, кто «быстрее, выше, сильнее» других — поэтому идеалом красоты становится атлет, победитель олимпийских игр. Согласно созданным по нему канонам (например, «золотому сечению» Поликлета) измеряется весь остальной мир; даже боги выглядят согласно этим канонам.

Мир после Христа увидел себя вне земного мира, посмотрел на себя извне. После этого возврат к зам-

¹¹ Известно, что на детских рисунках ребёнок либо отсутствует, либо изображает себя в несколько раз меньше членов семьи, иногда даже меньше домашнего животного.

кнutoй ойкумене античности и архаики стал невозможен. Идеал красоты стало невозможно изобразить и отобразить только внешними, материальными способами — человеку просто перестало хватать для этого инструментов, и тот переместился в область духа. Красота смысла, внутреннего содержания, нравственного порядка стала отныне тем инструментом, тем языком, с помощью которого можно было прикоснуться к утверждаемому идеалу. Внешняя красота стала только косвенным отражением красоты внутренней, следуя твердому эстетическому убеждению европейца, что внутренняя красота исключает любое проявление уродства внешнего; однако она надолго перестала быть центром культуры и той меркой, по которой измерялся и иерархизировался мир.

Всё изменило Новое время. Задорное желание художника сделать то, что в полной мере ещё никому не удавалось, упростить эстетику и вернуться от не охватываемой человеком вечности к замкнутой эстетике человеческого, земного и нетрансцендентного, привели к коренному изменению языка культуры. Говорить напрямую стало не модно. Куда интереснее разгадывать ребус, предлагаемый художником: сначала чисто визуальный, как, например, в «Бичевании Христа» делла Франчески; затем символический и аллегорический, как, например, на барочных натюрмортах Снейдерса; после — мифологический в романтизме и так далее; в конце концов, в XX столетии, вместе с приходом авангарда, о ясности мысли и содержания забыли вовсе. Модерн всей своей

исторической логикой вёл к усложнению, к разделению и расчленению, к мифологизации языка. В итоге культура просто забыла, как этот язык можно упростить, соединить и демифологизировать. Поэтому XX век стал эпохой самого непрямого высказывания из возможных: подтекст стал играть большую роль, чем сам текст, интерпретация стала важнее автора. Сосуд духа, которым была культура, перестал быть наполненным содержанием и стал обозначать самого себя.

Непрямое высказывание XX века стало методом, через который выражались иногда совершенно разные формы: от эзотеризма и синкретизма «Петербурга» Андрея Белого до неомифологизма посттолкиеновского фэнтези; от гиперреализма Олдингтона в «Смерти героя» до магического реализма Маркеса; от упоённого футуризма 1920-х до разоблачающей антиутопии 1940-х и пугающего киберпанка 1980-х. Этот список можно продолжать бесконечно, однако все приемы искусства прошедшего столетия: игру, сон, фантастику, пародию, деконструкцию, минимализм, абстракционизм, фантазию и другие — объединяет стремление автора завуалировать свой посыл, вплоть до того, что его речь окончательно потеряет всякую остаточную связность и разборчивость. Уходит ли он в минимализм и деконструктивизм или, наоборот, репрессивно читателя, зрителя или слушателя чрезмерной экспрессивностью и излишеством, художник неизбежно является заложником идеи о подтексте; идеи о том, что содержание, заявленное прямо, — банальность.

III

Завершается эпоха подтекста постмодернизмом. Родившись как очередная, далеко уже не первая попытка модернистского искусства «предать» самого себя, постмодернизм быстрее других понял и осознал абсурдность такого подхода. Единственной оставшейся лазейкой инстинкта самосохранения европейской культуры стал побег в сторону традиции. Заснув на исходе старого тысячелетия и проснувшись уже в новом, мы с удивлением обнаружили, что никакого «заката Европы», «конца истории» и «умирания искусства» нет и никогда не было. Нам объяснили, что никакие авангардисты не объявляли разрывов с традицией, а лозунги «сбросить Пушкина с корабля современности» — просто дань революционному времени и не самая удачная шутка. Что Пикассо и Дали не отрицали классические пластические формы, а развивали особый авторский взгляд в контексте мировой художественной традиции. Что Джойс не издевался над наследием романа XIX века, а преображал и развивал его. Что в мазне Поллока видны настоящие природная красота и гармония, а Ротко продолжал левые антибуржуазные традиции, отказавшись вешать свои кубы на стенах модного американского ресторана. В итоге получалось, что не столько художники творили культуру XX века, сколько, наоборот, культура эпохи создала художников. Они не могли творить иначе, потому что оказывались заложниками времени и господствовавших в эту эпоху нарративов и кодов, таких,

как «холодная война», «оттепель», «холокост», «общество потребления» и так далее. Искусствоведение XXI века — в чём-то циничная мумификация тела, из которого давно ушла жизнь, но которое при этом вновь и вновь выставляют на торги. Именно здесь кроется фатальное противоречие: уже нет «высокого» искусства, поскольку из него ушли высокая мораль и большая историческая задача. Не существует того мира, в котором «merde d'artista» ценится на вес золота, как не существует и никогда не существовало утрированной политической дистопии Оруэлла. Всё это осталось в полном недоговорённостях XX века, в котором игра ценилась больше жизни, фантазия ощущалась полнее реальности, деконструктивизм превозносился над конструированием, а абстракция надстраивалась над конкретикой.

Что же осталось в наследство от постмодернизма? Ничего, кроме самой попытки искусственно продлить его существование. Он был встроен в историю искусства, объявлен очередной высшей точкой и достижением мировой культуры. Но поскольку от протестной игры уйти полностью невозможно, ибо она заложена в самом основании постмодерна, сам протест стал по сути единственной живой ценностью современной культуры. Революция — хорошо, она приносит новое. Искажение — хорошо, через него познаются новые формы. Насмешка — хорошо, она через стыд излечивает болезнь. Однако по-настоящему нового, как и высмеивания настоящих пороков, современная культура боится, потому что тогда она по-

теряет заказчика и потребителя; а без этого исчезнет и последний смысл её существования.

Парадокс, вызванный экзистенциальными страхами, — это желание говорить о ценности нового при постоянных попытках отрывать это новое от живой традиции и продолжать из-за этого плодить вторичное. Это желание рассуждать о высокой социальной роли искусства, ограничиваясь при этом политическим заказом; смотреть на уродство или пустоту, боясь себе в этом признаться, потому что тогда окажется, что «царь не настоящий». Окажется, что идол непрерывности исторического художественного прогресса — ложен. И не просто ложен. Вся заявленная теория «возрастания» европейского искусства от проторенессанса Джотто до какого-нибудь деконструктивизма Захи Хадид (показательный факт: не успела она скончаться — её наследие в архитектуре уже начали «преодолевать») — выдумка. И в этот момент становится по-настоящему страшно: смерть подойдёт близко. И не то смешное отмирание одного стиля и замена его другим, в предыдущие эпохи наивно именовавшиеся смертью, но смерть настоящая, которая происходит только при полной смене языка.

IV

Конечно, ни *contemporary art*, ни постмодернизм никуда не денутся. Но они обречены на полусуществование, им уготована печальная судьба, связанная с выветриванием изначально заложенных в

них смыслов, с возникновением всевозможных новых трактовок и толкований, вроде постмодернизмов «второй» или «третьей волны». В конечном счёте они будут вынуждены подстроиться или мимикрировать под новые реалии. А к этому времени действительно изменится сама конструкция культуры и языка, на котором эта культура говорит.

Язык, призванный воскресить и оживить тело культуры появляется уже сейчас. Прямое высказывание, которое пробивает себе дорогу, — это попытка не просто «называть вещи своими именами», но вернуться к основам культуры, к её базовым понятиям. Любовь, ненависть, стыд, счастье, героизм, правда, ложь, дружба, верность, честность — всё это однозначные и внутренне неделимые понятия, смысл которых не зависит от трактовки. Когда на экране телевизора или страницах книги речь заходит о любви — зритель и читатель оказываются заложниками однозначного понимания авторского замысла. Зритель *чувствует*, настоящая это любовь или нет, он точно знает, *верит* ли он автору; и вне зависимости от степени его доверия — ему нечего трактовать там, где текст и подтекст становятся одним и тем же. Искусство прямого высказывания однозначно независимо от своей формы, подобно тому, как греческий храм был однозначен в своём внутреннем единстве и строгой соотнесённости своих частей. Делала ли его такая однозначность примитивным? Вовсе нет. Она придавала ему ту убеждённость и полноту, которые позволили эллинистической культуре захватить практически весь мир. Слом

и обновление языка, произошедшие две тысячи лет назад и базировавшиеся на греческой убеждённости в единстве оснований мироустройства (надо только отыскать основы этого единства и придать им форму), подняли культуру на невиданную до этого времени высоту и зарядили её творческой энергией на столетия вперёд.

С тех пор искусство претерпевает лишь небольшие изменения формы, но неизбежно возвращается к базовым архетипическим понятиям. Значит, источник энергии, который подпитывает культуру — это не вновь утверждаемая новизна, но архетипы и символы, которые нельзя изменить или исказить и которые заложены в самой природе человека. Их можно лишь затмить и завуалировать, но нельзя от них отказаться. Сегодня они *требуют* прямого высказывания. Таков запрос современного человека, который безуспешно ищет смыслы в заигравшемся актуальном искусстве. Но он найдёт их в искусстве будущего — искусстве *прямого высказывания*.

Потому что «мечты человечьи», столь долго приносимые в жертву забаве и игре, неизбежно возмрут своё.

Николай Пиотровский

ОГЛАВЛЕНИЕ

От составителя	III
В. А. Щипков – Русский	3
Е. А. Белжеларский – Большая война	25
А. В. Щипков – Чужая речь	71
А. Б. Рогозянский – Освобождение традиции	94
Д. А. Полковников – Язык Церкви	111
Н. А. Пиотровский – Прямое высказывание	127

Я З Ы К

СБОРНИК СТАТЕЙ О СТАНОВЛЕНИИ РУССКОГО ДИСКУРСА

Е. А. БЕЛЖЕЛАРСКИЙ, Н. А. ПИОТРОВСКИЙ, Д. А. ПОЛКОВНИКОВ,
А. Б. РОГОЗЯНСКИЙ, А. В. ЩИПКОВ,
В. А. ЩИПКОВ

Редактор

Анастасия Климова

Подписано в печать 07.04.2017
Формат 60x84/16. Объем 8,37 усл. печ.л.
Тираж 1000 экз. Отпечатано в России

ISBN 978-5-98604-613-6



Издательство «ПРОБЕЛ-2000»
тел. (495) 287-06-19 e-mail: probel-2000@mail.ru